

Светлана МИХЕЕВА

КАПЛИН ДОМ

П о в е с т ь *

Глава 15. Внутри и снаружи

Раечка пила чай, как любила — с сааган-далей и мятными русскими народными пряниками. Чаепитие было особенно душистым и сладким. С Нольбергом Раечка смирилась как с профессиональной издержкой, но любить его была не обязана. Он все-таки надменный грубиян, ее работу мало уважающий. Да и вообще...

Сегодня Раечка испытывала блаженство, помешать этому не могли даже крошечные, с червячка, угрызения совести, что, мол, ты — женщина, но где же твоя женская солидарность? Против Агаты Раечка ничего не имела, в общем и целом. Но если Виктор Викторович бесится и ему плохо, то ей, Раечке, очень даже отлично. Почему отгул в пятницу не дал, а ей очень было нужно? Да и вообще, они очень даже равнодушная и наглая семейка. Хотя старший, конечно, мужик толковый. Но все равно — все им по заслугам.

Жена начальника казалась ей неяркой равнодушной водорослью, что колышется, обласканная течением судьбы. Ну почему таким людям везет, почему у них все есть? Мама воспитывала: с таких людей и бери пример, их уважай, будь похитрей — и тебе отломится. Ага, щас!.. Так что теперь тоже пусть помучаются.

К тому же Нольберг хотел кинуть ее брата. Так что Раечка мстила не только мелко — за себя, но и за братишку. Договоренности были? Были. Толик с Дарьей на эти деньги рассчитывали? Рассчитывали, ведь ребенок на подходе. Ей так неудобно от своей секретарской зарплаты отрывать кусочек еще и для братовой семьи. А что в итоге? Все договоренности расторгнуты, работа отменена! В пятницу сказал, и она мучилась все выходные разными мыслями. Зачем было только людей дергать!

* Окончание. Начало в № 1/2024.

Червячок Раечкиной совести вскоре затих от этих уговоров, напившись ароматного чаю. А ночью Раечка спала так крепко и сладко (видимо, от чувства выполненного долга), как не спала уже давно.

Назавтра стояла отвратительная погода. Шеф, опять же, метал молнии весь день. Раечка была довольна. А вечером, когда она ужинала, позвонил ей и потребовал брата к себе. Раечка аж взвизгнула, сочтя, что пространство настолько справедливо, что ужасно быстро отозвалось на ее жалобы.

Поэтому она даже не стала звонить, а, несмотря на непогоду, натянула сапожки, пуховик и метнулась в сторону остановки, от которой скрипучий неторопливый троллейбус доставил ее прямо к месту назначения. Новостройка лупала желтыми глазами на гудящее пространство и пищала подъездными дверьми, в которые, сойдя с троллейбуса, ручейком затекло несколько человек.

Толик обрадовался известию. Он получает столько, что хватает лишь на необходимое. А жизнь-то этим не заканчивается. Кто-то вон на Сейшелы смотался, а им бы с Дашкой в Сочи, для радости, на недельку. Перспектива возобновить договоренность с Райкиным начальником — а зачем бы еще он их звал — была очень кстати. Раз за молчание бабла срубить не получилось, возьмут за дело — но больше. Жека пусть просит сразу много. Так и надо будет сказать этому засранцу в костюмчике: мол, вдвое больше хотим, а иначе ищи других. А если начнет артачиться, то и вообще заложим, сходим куда надо, к вежливым людям. Короче, что бы ни предложил, просить надо однозначно и сразу больше.

Толик был прост. Каждый из таких вот, в костюмчике, ему мнился не человеком, а символом, образом удачливости. И в Нольберге Толик видел себя, только удачливого, ловкого. В его мыслях благополучие существовало именно и только в таком виде — государственная бумажная служба, рождающая кругом разнообразные возможности. Благополучие мыслилось только так, под защитой непобедимой системы, которая охватывала покровительством не одного, вошедшего в нее, но и его близких, становящихся ее частью, — и их близкие также охватывались страшным, но теплым и мягким серым крылом. И так далее распространяла она свое тлетворное, но обаятельное влияние сытой жизни. Можно было купить все, приняв ее покровительство. Можно было договориться со всеми, став ее частью. Так мыслил Толик работу этой махины, которая в его голове была не чем иным, как всеобъемлющей привилегией. Да он и государством мог бы управлять. А что? Вполне, если немного насобачиться.

Тихая, но устойчивая зависть разъедала Толика и подобных ему других, кто видел, сталкивался с этой иной, совершенно марсианской жизнью. В глазах Толика материальное благополучие не ограничивалось для этих «марсиан» достатком. Оно заливало нереальным светом весь ареал их обитания, оно словно переделывало пространство под себя. Одна и та же улица в глазах Толика выглядела по-разному, если по ней шла старуха (или кто-то вроде него, серый, обыкновенный) или же если

ступал по ней кто-то, имеющий за душой уверенность в завтрашнем благополучном дне.

Правда, иногда Раечка рассказывала о работе, о том, как все по-настоящему устроено, — и Толик на минутку пугался. Да и то — старается, старается сестрица, образование у нее, да и вообще не дура, а гляди, допрыгала лишь до секретарши. А что потом? А есть ли вообще это «потом»?

Мурашки начинали бегать по Толиковой спине, когда Рая объясняла, как все устроено, как вращается и для чего это колесо удачливости. Внутренние взаимоотношения начальников и подчиненных, начальников и начальников и всех, кто был вовлечен: все они, казалось, были настороже и старались не предпринимать и не говорить ничего такого, что могло бы повредить этой равнодушной серой машине. Толик представлял ее себе в виде огромного механического паука, который приземлился, и накрыл собой человечество, и пожирал бумагу, как шелкопряд, выдавая серые нити, сплетающиеся в душные коконы вокруг каждого человека. Толику казалось, что все люди на Раечкиной работе, не исключая и ее саму, всегда говорят шепотом и даже передвигаться стараются тихо, чтобы не потревожить паука, сидящего в главном углу. Недаром в администрации полы забраны толстыми ковровыми дорожками, в которых глож, тонул звук шагов — и тонул с ними как бы и весь человек. Как будто бы он идет, а как будто бы его здесь и нет...

Толик ловил отзвуки своих страхов, пытался поразмыслить на эту тему — но его хватало ненадолго. По телевизору показывали роскошную жизнь, и Дарья ныла под боком, и все время приходилось за что-то платить. Так что он, инстинктивно, как спасается животное, не позволял себе глубоко задумываться. Ему все равно, чем они там занимаются, ему просто нужно действовать, он муж, отец и кормилец семьи. В любом случае должен.

— Райка, ну ты молодец! Отметить надо. Жеке позвоню!

На кухню вплыла Даша. Она мыла дочери голову и была поэтому вся мокрая.

— Я те щас отмечу! Привет, Рай. Что отмечать он собрался?

Раечка открыла рот. Но заметила конвульсивные движения Толика. За спиной Даши он странно мотал головой, закатывал глаза и кривил губы. Ага, Даша не в курсе. Ладно, пусть так и будет. Хороший все-таки Толька, бережет жену от лишней информации.

— Меня обещали повысить, — спасла она брата.

Раечка, собственно, и сама не до конца понимала, что хочет Нольберг от Толика. Но ей нравилось думать, что благодаря ее посредничеству брат получит деньги, хорошенькую сумму. Толик с сестрой особо не откровенничал, ограничившись пояснением, что помогает найти подрядчиков для работы с полуразрушенным деревянным хламом, которым заставлен центр. И с какой стати ей сомневаться в его словах? Раечке, конечно, приходило в голову, что такой напыщенный прохиндей, как ее шеф, не станет без острой необходимости связываться с таким

простым человеком, как ее брат. Но ему нужен был надежный исполнитель. А Толик как раз такой.

Нарисовав племяннице Настьке зеленого осла, Раечка отправилась домой. Она снимала квартиру в центре, в рыжей хрущевке, за которой простиралась гигантская торговая зона. Прежде здесь, отделяя городской центр от правобережных рабочих предместий, гремели цеха огромного машиностроительного завода. Раечка родилась, когда эти цеха уже прибрали к рукам коммерсанты, и, глядя на эти махины, она пыталась представить масштаб прежнего, воображала, какие механизмы здесь собирали, какие нескончаемые потоки людей ежедневно, по гудку, устремлялись к цехам. Старушка, переехавшая к детям и сдавшая Раечке квартиру, когда-то работала на заводе. На кухонных антресолях среди хозяйкиных вещей Раечка нашла черно-белые фотки — заводские праздники, шествия, Дом культуры, старушкин цех, прилегающие к заводу улицы и всякое другое. Впечатленная многолюдностью и размахом — на фотках все казалось гигантским, — Раечка вглядывалась и в жилые окрестности, пытаясь как-то оценить для себя произошедшие изменения. Вот и сейчас шла, выгрузившись из трамвая, уже в темноте, по улице заснеженных деревьяшек, натыкалась взглядом на любопытный свет, выглядывающий из комнат на улицу сквозь зазоры между ставнями.

Иные хозяева любовно раскрашивают ставни в какой-нибудь розовый или зеленый. Разве не видят, что это смотрится жалко? И все эти цветы в горшках за ставнями, какое-нибудь алоэ, или широко разросшийся и выцветающий под прямым солнцем бордовый колеус, или обязательно герань — старушечьи как раз растения. Раечка могла представить себе эти дома юными, молодыми, срубленными под хозяев. Но смысла их теперешних она не понимала. Каждый напоминал ей мать — жалкую, питающую космические надежды на будущее, раздражающую. Раечка признавалась себе, что жалостливые, но очень цепкие надежды матери душат ее, отодвигают на задний план Раечкины собственные надежды и желания. Но, думала Раечка, на месте этого старого, обветшавшего, собравшего в себя столько чужих обременяющих ожиданий города должен возникнуть новый, свежий, просторный, свободный. Вон дурацкие колеусы с подоконника! Сжечь к черту эти грязные заборы — из-под каждого так и норovit вылезти какая-нибудь убогая, но зубастая собачка!..

В общем, совершенно не было причин сомневаться в словах Толика. Краем уха Раечка слышала разговор начальства о том, что планируется стройка, но под обновление маловато земли. Наверное, будут освобождать. Да, мусора придется вывезти много. Но и заплатят, наверное, неплохо. Единственное, что волновало Раечку, — заплатят ли брату по-честному, сколько обещали.

Явившись по вызову Нольберга, мужики попросили вдвое, как Толик и хотел. Жека сделал морду тяпкой и сослался на инфляцию. Мол, время прошло, теперь цена другая. Мол, уже работу отменяли, а они тоже время свое тратят.

Нольберг, оперши щеку на кулак, слушал как будто без интереса. Но внутри него шипела змеиная злость оттого, что не может прогнать этих двоих, — они стали ему нужны. Нужны лично ему. Для его личной цели. Этот факт, досадный сам по себе, был еще неприятнее, так как платить этим люмпенам придется теперь из собственного кармана. Впрочем, сейчас он меньше всего переживал по этому поводу. Его самолюбие было задето тем, что Агата его опередила, не дала сохранить лицо. Он мог давно расстаться с ней, но предвидел реакцию отца. К тому же опасался, что отец узнает о его самоуправстве на работе, о таком вопиющем использовании служебного положения, которое бросит тень и на него, Нольберга-старшего, — и тогда... О том, что будет тогда, Виктор Викторович предпочитал не думать. В глубине души он был уверен, что родитель сочтет его преступником и отправит в каталажку, ничуть не смущаясь, а, наоборот, с удовольствием, — избавится от неудавшегося отпрыска.

— Договорились. — Он преодолел раздражение. А отправив гостей прочь, собрался и вышел из кабинета.

В обеденный перерыв на первом этаже раздавалось густое звучание, будто шмели гудели в гнезде. Вниз, в цокольный этаж, в столовую, слетались на обед коллеги. Нольберг, ни с кем не здороваясь (ему казалось, что все знают о том, что с ним произошло, обсуждают его), опустив голову, прошмыгнул, боясь, не дай бог, встретить родителя. Отец сначала ошпарит его взглядом, а потом разрежет на кусочки своим холодным голосом. Так было с детства — старший Нольберг рассчитывал воспитать в отпрыске непреклонный, пробивной характер, необходимый, чтобы наследовать его собственные достижения, продлить и расширить их. Но у маленького Вити, который превращался в бездвижную, безголосую сосульку рядом с отцом, были другие задатки. И он вполне развил их в той жесткой среде, в какую его вдруг поместили, научился лавировать, подчиняться, сохраняя при этом надменный вид. Он не был лидером, но ему удавалось ввести в заблуждение многих. Отец, впрочем, все еще сохраняя некоторые надежды, понимал характер сына и, может быть, как думал Виктор, поэтому немного презирал его. Они оба были по-своему умны, но сделаны из разного теста. Их объединяло, наверное, только высокомерие, семейная черта, которую оба выставляли напоказ по любому поводу и в любых обстоятельствах.

Карьерные мечты младшего Нольберга были подавлены отцовскими харизмой и мечтами, и протестовать не имело смысла, это он усвоил с детства. Он принял все распоряжения насчет собственной судьбы даже с некоторой легкостью, с облегчением затушив последние отблески протеста. Ведь вся ответственность, что бы он ни сделал, теперь ложилась на отца. Может быть, так и проще, и лучше. Это развязывало ему руки.

Он даже женился на своей девушке Агате потому, что так хотел отец, рассчитавший, что если вдруг сыну придется делать не управленческую карьеру (он не очень-то верил в административную жилку отпрыска), а, например, в юридическом институте, то у него будет неплохое подспорье

в виде тестя. Нет, конечно, Агата была вполне мила, хотя с женьтиьбой сам Виктор не торопился бы — если бы у него была такая возможность. Все-таки брак налагает некоторые обязательства — дети и все такое. Но отец умел все поставить по-своему.

Сейчас, выбегая по мягким дорожкам, стремясь на воздух, спасаясь от воображаемой погони, Виктор чувствовал, в какую ловушку попал. Хотя тогда ему казалось, что это выбор хоть и не его собственный, но вполне в его пользу. Чего уж проще: женись и тогда отец от тебя отстанет. Мама так ему и говорила. Но мама, она как цветок, величавой красоты безголосое существо. Цветок без запаха.

Виктор миновал большой сквер с молчащим зимним фонтаном, вышел на уютную улицу с намертво очищенным от снега тротуаром. Старые каменные дома — купеческие незамысловатые особнячки и сталинки с их противоречивым декором — словно наклонялись к нему, здоровались. В такой же сталинке через улицу он вырос, знал поэтому в округе каждую подворотню, каждый дом. Сейчас в семейной квартире живет сестрица. Надо бы к ней зайти, посмотреть, как длится ее светское существование за спиной нового мужа, налогового начальника. С прежним ее мужем, бизнесменом, Виктор не ладил, тот был слишком похож на старшего Нольберга, почти такой же властный.

Отец с матерью устроились в коттедже на местной «Рублевке», отец говорил — ближе к природе на старости лет. Сентиментальной любви к березкам и просторам Нольберг за отцом никогда не замечал. Но легко представлял его старым драконом, который, подрастеряв силы, уползает в свое логово, чтобы там безнаказанно жрать путников. И когда навещал родителей еженедельно, по субботам, вполне реально видел в окно, как отец, обратившись в зверя с красной матовой чешуей, под покровом ночи ползет со своих сорока соток в сосновом лесу, извивается между прямехонькими, как карандаши, частыми соснами, а с широкой дороги взмывает в темную высь. Утром, встречаясь в столовой за завтраком, Нольберги почти не говорили, это было традицией — есть и молчать. Поэтому Виктор исподтишка рассматривал отца, ища в нем изменений. Например, если обратное превращение произошло бы не целиком, а осталась бы где-нибудь, допустим, чешуя или коготь?

Заворачивая за угол, Нольберг подумал о том, какие же грубые формы все-таки раньше имела жизнь, — он входил в ту часть города, где сохранилось много старого и ветхого. Особенно его бесили трещины в бревнах и ставни, словно больные позапрошлой красотой. Крась не крась эти ставни, не изменится ничего, старье всегда остается старьем. Нормальные люди имеют право на полноценные вещи. Можно поднимать их из руин за большие деньги — но каким идиотам нужна рухлядь? Но, главное, кому нужна рухлядь, которая уютится в этих домах? Весь этот сброд, вся эта серость. Он словно чувствовал дыхание масс, толпы, народа — опасное, горячее, чувствовал на себе обволакивающий взгляд. Ему с детства казалось, что старые

дома через своих обитателей имеют глаза. И смотрят ими в человека, чего-то видят в его скучном тельце. Что-то непростое видят, позорное, знают все секреты. Он не любил бывать на таких улицах. Еще в детстве стремился проскочить на велосипеде, побыстрее миновать эти затягивающие inferнальные полосы, разделяющие его детский светлый мир и другой, необъяснимый.

У водопроводной колонки покачивался мальчик с ведром. Уши заткнуты наушниками, хардкорная безразмерная куртка — все типично. Вот что из него выйдет в таких условиях?

Мальчик повесил ведро на колонку и нажал рычаг. Вырвалась из крана бурлящая вода, хряснулась о намерзшую ледяную корку, попала на ботинки Нольбергу, проходящему в эту минуту мимо. Мальчик поднял глаза, серые, внимательные. Их неясное выражение смутило. И Нольберг, как в детстве, прибавил шагу, почти побежал, ругая себя и осознавая, что мальчишка позади, наверное, недоуменно смотрит убегающему в спину, а то и ржет над ним, думает своим подростковым скабрёзным умишком всякую ерунду.

Не умаляя скорости, Виктор дошел до нужного места. Ранняя зима раздела улицу. Ее темное тело лежало под пышным небом, дожидаясь настоящего, щедрого снега. Каплин дом, стоящий в некотором отдалении от дороги — когда-то перед ним существовал небольшой садик, — растопырил ставни. Ставни казались очень тяжелыми, каменными, цветы на них казались каменными. Кто-то приструнил разболтавшееся крыльцо, оно сияло новыми перилами, выкрашенными в голубой. Кто-то перебрал половину крыши. Ограда у Каплина дома возвышалась только с одной стороны, из металлических прутьев, о двух белых столбах, но и это придавало уюта — она словно подпирала несколько знатных лип и желтую по сезону, изящную лиственницу, усыпавшую землю золотым пухом. Ограду можно было бы убрать, но Нольбергу показалось, что она не давала деревьям убежать, не давала рассыпаться чему-то правильному, долговечному. Остатки капитальной ограды (графские развалины, тоже мне, фыркнул Нольберг) не позволяли дому почувствовать себя сиротой, кораблем, дрейфующим в неизвестном море по велению судьбы. Белые столбы выглядели очень свежими.

Любой восприимчивый человек почувствовал бы здесь обаяние труда, вложенного в осуществление памяти, рухлядь словно общалась с помощью знаков — перекрытой крышей, голубыми перилами. Она словно сообщала что-то о возможности примирения с самим собой.

Виктору припомнился незначительный эпизод, который почему-то так и не забылся — не как событие, но как ощущение: он был мал, его вели с собой старшие дети — и вдруг что-то повлекло их, они убежали, оставив его на узкой тропинке, таинственно тянущейся внутри высокого кустарника на территории заброшенного детского сада. Сквозь бреши в кустарнике он видел останки старого белого фонтана — чаша без воды и малыш верхом на лебедь, видел белую лестницу, которая никуда не вела, что-то еще, смутное, важное. Свет внутри аллеи был зеленоватый, неяркий, и в его задумчивой пустоте мальчик уловил

приглашение и пошел за ним, петляя вслед за тропинкой. Ему казалось, он идет к чему-то знакомому, желанному, в нем затеплилось благоговение перед неизвестным, неопасным, даже радостным. Так бы он и шел, но притомился и опустился на землю под кустом, полным фиолетового цветения, — кто-то же посадил куст здесь, такой красивый, такой ароматный, — и заснул. Его нашла сестра, весело разбудила и потихоньку привела домой, чтобы не заругали родители. Ощущение зеленоватого блаженства сохранилось в нем до сей поры, иногда открываясь по непонятным причинам, то ничтожным, то крупным. Оно появлялось, когда рождались его дети. И вот теперь перед этим домишком — непозволительно, неуместно! Ведь он пришел взглянуть на то, что могло бы стать орудием отщепеня, а нашел что-то другое. В чем здесь связь? Как поразительный и счастливый момент его детства связан с предательством? Он ищет здесь ярости, а находит возможность умиротворения. Значит ли это, что он — тряпка? Что он не способен управлять даже своей жизнью, а вынужден подчиниться воле других, воле Агаты в данном случае или же воле отца?

Виктор вдруг ясно понял, что не может побороть ощущение, что она для него — груз, навешенный на него отцом, человеком, который и не человек вовсе, а ледяная глыба самоуверенности, и эту глыбу невозможно растопить никаким теплом, невозможно подмыть никакой водой. Покладистость жены была лишь доказательством этого. И он должен освободиться.

Приняв решение, Виктор вдруг с удивлением подумал: он ни разу не вспомнил о хозяине дома. Тот был ему ничем не интересен, успешный архитектор, по своим причинам вернувшийся в захолустье. Прагматичный отец, наверное, однозначно определил бы его в сумасшедшие. А разве не так? Все это отжило свое. Оно создает только боль, только лишь пугает.

Виктор оглянулся. Он стоял на другой стороне улицы, позади деревянным пузом вывалился на улицу старый забор. Вот-вот треснет, и посыплется из него, как из рога изобилия, всякая дрянь, что-то сломанное или же уголь — прямо под изгибом между досками и землей уже чернела мелкая каменноугольная крошка. Когда он, обзрев фактуру за спиной, вернулся взглядом к Каплину дому, в окнах первого этажа загорелся свет, хотя на улице было еще довольно светло. Через несколько минут свет загорелся в одном из окон второго этажа. Там ходил кто-то, освещаемый веселой яркой лампой без плафона. И тогда-то Нольберг почувствовал чей-то взгляд. Слева, совсем рядом, стоял большой черный пес, сильно смахивающий на волка желтыми близко посаженными глазами и заостренной узкой мордой. Виктор вздрогнул и стал отходить тихонько, боком. Зверь не шевелился, словно к месту прирос. Звуков тоже не издавал, просто стоял. Нольберг зло чертыхнулся — чего только не бывает в таких подворотнях, — повернулся к зверю спиной и спокойно пошел прочь с уверенностью, что все это должно исчезнуть, просто обязано растаять, как наваждение.

Глава 16. Клад

Маня Иванович был в курсе, что Дягилев и Дон Педро умеют работать руками. Поэтому предложил Марату принять их в качестве подсобных рабочих, а дальше — по обстоятельствам.

Работ в доме оказалось больше, чем первоначально думал Маня Иванович. Впрочем, он полагался во многом на себя самого, на свои силы, но вскоре оказалось, что сил у него пока недостаточно, а отсутствие ступни изрядно мешает — не появилась еще привычка существовать в новых телесных обстоятельствах.

Марат усомнился не столько в творческих способностях Маниных друзей, сколько в их образе жизни.

— Они алкаши, конечно. Но люди в общем и целом золотые. И могут, если сильно надо, не пить. Ну то есть сильно не пить, а так, в меру... — уверенно пообещал Маня Иванович.

У Марата были кое-какие средства. Но на такой затратный проект их могло и не хватить. Поэтому товарищи Мани, которые, вероятно, попросят за работу не так много, были бы кстати. Попробовать можно. Во всяком случае, пока от заказчиков бюро не поступят деньги.

— Много возьмут?

— В меру. Умеренно. — Маня Иванович, конечно же, попросил бы товарищей по землянке цену не задирать.

— Ну зови. Посмотрим.

Еще у Марата были монеты, которые он показывал Шурику, и тот заверил, что готов выкупить их по хорошей цене. Но Марат пока не решился продавать, ибо обретение монет было событием странным и требовало разрешения. Либо в доме обитают привидения, либо кто-то живой — без его хозяйского ведома.

Горсть монет обнаружилась в центре перевернутой табуретки. Табуретка появилась по центру самой большой комнаты второго этажа однажды утром. Накануне комнату очищали от хлама, а Маня Иванович исследовал стены на предмет трещин.

— Ох ты, батюшки мои! — воскликнул Маня Иванович с утра на весь дом, заглянув в комнату, чтобы вынести оставшийся мусор. А потом весь день не мог опомниться, предполагая чудо.

Табуретку Марат трогать не стал, оставил как есть. А Маня Иванович, человек суеверный и в чем-то благочестивый, вместо монет втихую, чтобы не видел хозяин, положил горсть конфет: мол, духам, в обмен.

Конфеты пролежали пару дней. Марат уважительно не трогал их, а потом все-таки убрал, чтобы не привлекать насекомых и крыс.

С тех пор Маня Иванович стал относиться к дому с большим уважением, отдавая дань то молоком, расставляя чашки у дверей комнат, то помещая в разных местах разломанные, по бурятскому обычаю, сигареты.

— Зачем ломаешь? — спросил как-то Марат.

— Умерщвляю. Как, по-твоему, мертвый покойник будет живую сигарету курить?

— Тоже верно. — Марат поражался непреклонной детской логике Мани и уважал его догадки.

Товарищи Мани явились по первому большому снегу очень рано утром. Они были трезвы.

Дом произвел на них впечатление. Не сам по себе — их захватило то чувство соучастия, которое имел к дому Маня Иванович. Он устроил товарищам чаепитие и экскурсию. И к тому времени, как Марат, проснувшись, вышел из своей квартирки, мужички успели обсудить электропроводку, фундамент, обследовали печи, простукали стены — Дягилев был уверен, что в таких домах непременно спрятаны клады.

В ответ Маня рассказал о недавней находке, показал место обретенных монет. Переломил несколько сигарет и разложил на подоконниках, прося духов дома благосклонно принять его товарищей.

Дягилев, бродя по комнатам, вдруг вспомнил прочитанное в детстве. Воскресали в нем то бунинские астры в садах, — с чего бы вспоминать здесь деревню? А то вдруг шмелевская Москва раскладывала свои калачи и яблоки в медовом и шумном воздухе. То уж, совсем не к месту, толстовский хрестоматийный дуб в своей зеленой силе вдруг проявлялся как посол блаженной страны надежд. Багаж, лежащий в душе мертво и бесполезно (как любое уложенное насильно), вдруг показался ценным. Шевеления памяти сладко обещали связать расчлененную жизнь воедино, обновить, возвысить. Дягилев почувствовал зов утраченной чистоты, которая махала ему из детства белейшим платочком. Вот он, маленький, сидит на подоконнике своей комнаты в их семейной квартире. Мать стучит кастрюлями на кухне. Отец еще не выгнан, его ждут с работы. Квартира у них на четвертом этаже, из окошка хорошо видны дали — поля подсобного хозяйства и за ними блестящая река. По своим делам плывут облака, такие, какими рисуют их в книжках, — кучерявые, спокойные. Дело к вечеру, и в зарослях травы надрываются кузнечики. А пахнет супом и пирогом. Господи, какое же было чудо! — Дягилев даже поморщился от яркости воспоминания. Это потом все покатилося, это они, родители, все испортили. Испортили, а потом и померли! А он теперь расхлебывай эту жизнь, такую же гнилую, как этот дом: все в нем уже умерло, уже пора на покой, а его заставляют жить дальше.

Закипело в нем раздражение. Хотел закурить, хотя Маня строго предупреждал не курить в доме. Но не стал. Переломил сигарету и сунул в щель между дверным косяком и стеной.

— Надо бы косяки подтянуть! — заорал в направлении Мани. Заорал — потому что показалось, что сейчас возьмет и заплачет.

Работа закипела. Маня шоркал наждаком какую-то деревяху, Дон Педро сортировал хлам из верхних квартир, задерживаясь взглядом на старых газетах. Они освещали события его молодости, еще, казалось бы, недавней — но уже давнишней, ставшей историческим

фактом. Дон Педро взгрустнул, наткнувшись на заметку о кинотеатре, в который они с женой еще не так давно ходили. Удобно уместившись в плюшевом голубом кинокресле, жена любила поплакать над какой-нибудь сентиментальной ерундой, прислонившись лбом к его плечу. Тогда ему было неловко, особенно, когда она начинала швыркать носом, разойдясь в переживании. И он, покупая билет, обычно просил у кассирши отдаленные от других зрителей места. Сейчас бы он, конечно, не переживал, наоборот, был бы рад. Но можно ли вернуться к тому месту, с которого началось крушение твоей жизни, и, поняв причину, исправить все в настоящем? — задался вопросом Дон Педро. Когда-то он во всем винил себя, потом — жену. Эх, не стоило ему соглашаться на бабскую истерику, идти прочь с чемоданчиком. Дело-то секундное: Татьяна, эмоциональная женщина, разоралась, а он, гордый павлин, в тот же момент и сдулся, хлопнул дверью. А за дверью известно что — ничто темного одиночества. Надо было ее в кладовке запереть, пусть бы прооралась там, среди инструмента и лука, уложенного в женские чулки на хранение. А как прооралась бы, так ее на ковер — мол, что устраиваешь, окстись, женщина! Надо было пожестче, не поддаваться. А как не поддаваться — мать привычно говорила: уступи женщине, она слабее. Ну вот, доуступался, уступил, можно сказать, свою собственную жизнь.

Дягилев, оценивая состояние второй, перекрытой — некогда черной, для прислуги, — лестницы, возился где-то в глубине коридора. Поругивался, увещевал неживое. Время от времени от него летели куски штукатурки, какие-то досочки.

Марат ловил себя на том, что прислушивается к звукам, намереваясь как будто бы установить, не имеют ли люди, их производящие, каких-то нечистых, разрушительных намерений. Он еще не решил, может ли доверять им. Но зато был готов всецело довериться Мане Ивановичу. Так он доверялся пацанам, с которыми пересекал реку, чтобы позлить заречных мальчишек и добыть в боях и походах бесценные детские трофеи. От того, что он все еще может испытывать такое славное чувство, Марату становилось радостно.

Глубины коридора вдруг огласились победительным воем. Дягилев предстал перед честным народом с добычей — он схватил и держал что-то вихрастое и знакомое.

— Сашка! — Маня Иванович, сидевший на табурете, чуть не упал, привстав, забыв от удивления, что его ступне недавно пришел кирдык. Сашка шмыгал носом.

— Ты, друг ситный, не плакать ли собрался? — поинтересовался Маня и махнул костылем, давая знак Дягилеву отпустить мальчика.

Малец собрался было, но, увидев знакомые физиономии, передумал.

— У вас еда есть? — тотчас обратился он к Марату.

— Предположим. А ты почемуходишь без стука?

— А я через лаз. Там дверка отломалась. — Сашка опустил глаза.

— Отломалась, говоришь?

Оказалось, что Сашка, в общем-то, не врал. Но несколько преуменьшил свою заслугу. В одну из комнат вела отдельная дверь с улицы. Ее когда-то заколотили и закрыли обшивочной доской. На планах, которые Марат достал в архиве, ее не было. Но Сашка, с остервенением исследуя дом снаружи, обнаружил подозрительную щель и расширил ее из своего детского любопытства, в нее просочился и попал в кладовочку, крошечную. В кладовочке он ощупал стены, толкнул перед собой, прорвал обои, держащие потайную дверцу, — и выпал в комнату.

— В первый раз без стукаходишь? — спросил Марат, прищурившись. У него вдруг закралось подозрение насчет духа-дарителя, оставившего монеты в табуретке.

— Не. Уже заходил.

— Через отломанную дверку?

— Ага.

— Монеты где взял?

Оказалось, там же, в кладовочке. Оказалось, к радости любителя пиратской романтики Дягилева, Сашка нашел клад: в щели между бревнами ухватил какую-то веревочку, потянул и вытянул мешочек.

— Там еще есть. Я себе только три оставил. И вам насыпал, — оправдывался парнишка, понимая, что раз дом чей-то, то и находки принадлежат хозяину.

Они всем гуртом отправились в кладовочку. Крошечное потайное помещение когда-то, возможно, использовалось для складирования дров. Но там были еще пыльные полочки с хозяйственной утварью. Ржавые кованые гвозди, каменная ступка, молоточек, связка бумаг. Под полочкой — выемка, Сашка сунул руку, потянул, достал мешочек из заскорузлой, потрескавшейся кожи. В мешочке — горсть старых монет. Мужчины рассматривали монеты, а Сашка при свете рассмотрел еще и предметы на полочках. Ему приглянулся молоточек, и он легко выпросил его себе.

После открытия клада настроение у всех поднялось. Сашка съел все запасы печенья. Дягилев то и дело заговаривал о поисковых работах.

— Надо бы металлоискатель сюда. Дом-то большой, мало ли кто что попрытал.

Дон Педро косился на мешочек, который Марат оставил лежать на столе в своем обиталище. Маня Иванович про себя упрекал хозяина клада в неосторожности и приглядывал — не то чтоб он заподозрил приятелей в разбойничьих намерениях, но чем черт не шутит. Хотя при такой-то жизни можно ли человеку судить человека, особенно если соблазн такой явный? Поэтому приглядим, думал Маня.

Вечером Марат заплатил мужчинам за труды, и Маня Иванович получил премиальные — ему деньги полагались еженедельно.

Уговорились продолжить через день.

— Трезвыми! — Маня поднял палец вверх, провожая приятелей.

Дягилев приставил руку к виску, мол, есть, командир. И они растворились в сумерках, тихонько переговариваясь.

Когда и от голосов не осталось следа, Маня Иванович вернулся в дом. Жизнь казалась ему медом. Это не он греб в сумерках на металлобазу, кто-то позаботился о нем — и он был готов сполна отплатить за это. Но как, чем? Что от него проку? Теперь уже и работник так себе. Но при случае, надеялся Маня Иванович, при любом удобном случае он засвидетельствует силу своей благодарности.

Он остановился в коридоре, рассматривая Марата, который завис над своими чертежами и что-то бормотал. Заметил на стуле чистую рубашку. Вот ведь человек — вошла в него идея, хорошая, что и сказать, но какая-то уж больно идеальная, кристальная даже. Такая чистота ставила все под удар в этом порченном, хоть и красивом, мире, думал Маня. Этот плохо знакомый человек и его престарелый, но крепкий домик отчего-то казались ему крайне уязвимыми.словно стояли на краю пропасти, куда сдуть их мог любой злой ветерок.

Когда Маня устроился на покой, подложив под больную ногу свернутое одеяло, он услышал стук двери, а еще неясный, но приятный женский голос. И, приняв все это за мираж, нырнул в счастливое сновидение.

Сашка, отправленный в тот день домой, шел медленно, обмозговывал случившееся. Во-первых, ему было немножко стыдно — за вранье. На самом деле он присвоил с десяток монет. Но если они дорогие, то, когда он отправится на поиски матери, сможет выручить за монеты настоящие деньги. А то вдруг придется купить билет на поезд или даже на самолет... Хозяин дома не стал бы его осуждать, он бы понял. Стыд вдруг превратился в чувство благодарности.

Обычно ему некого было благодарить. Однажды бабка потащила его в церковь. Чего она там забыла? Стучала своими каблуками в сырой тишине, слонялась из угла в угол, покупала свечки. Священник сделал Сашке наставление за ковыряние в носу перед святыми ликами, велел ему благодарить Бога и ткнул пальцем в Иисуса на кресте: вон он, наш Бог, благодари. Но что этот прибитый к доскам мужик мог для него, Сашки, сделать? Как он мог помочь ему? Скорее уж Сашка поможет Иисусу, раз уж ни его собственный папаша Бог, ни священник сами не могут подействовать, чтобы того сняли с креста. Мальчик выразил сомнение вслух. Священник покачал головой. А бабка, подбежавшая, почуяв неладное, больно ткнула Сашку между лопаток. Потом она демонстративно замолчала, сжав свои накрашенные губы, и потащила внука мимо алкашей на паперти, которые отодвинулись, освободили им дорогу. Может, они даже сочувствовали Сашке, мол, злая у него бабка.

А еще Сашка думал над тем, а нельзя ли насовсем перебраться в полупустой дом, оборудовать себе там жилище. Тогда потом, когда он найдет мать, им будет где жить, по крайней мере. Бабка ее домой не пустит, это точно.

Он вырос при полном отсутствии мужчин. Для него мир состоял из бабки и теток в школе, ей подчиненных. Он любил супергероев

и полицейских из телевизора, ему нравились водители огромных грузовиков, которых они с прародительницей встречали в придорожных кафе, когда ездили на машине на отдых — в горную местность с лечебными источниками. Мужички — некоторые из них были в растянутых футболках и домашних тапочках — сосредоточенно ели, весело переругивались. От них терпко пахло потом, бензином, шашлыками. Сашка заметил, что дальнбойщики любят заказывать солянку и шашлыки, и еще кофе «три в одном», из пакетика. И просил у бабки солянку и шашлык, но она покупала ему какой-нибудь детский борщ и котлету с картошкой. А если дело было утром, то вообще кашу. Сашка не ел, стеснялся.

Однажды он упал, сильно вывихнул локоть, ему вызвали скорую помощь. Приехал усатый фельдшер и увез его в настоящую, с кроватями, больницу. В больнице ему делал анестезирующий укол другой доктор, молодой и веселый, а операцию — следующий, с серым и обвисшим лицом, но очень уверенный. Сашке даже показалось, что весь мир делится на школы, где заседают женщины, и на настоящие (не поликлиники) больницы, где все решают мужчины. Он бы хотел стать доктором. Если, конечно, его не возьмут в водители больших грузовиков. Дорога казалась ему все же симпатичней, радостней пропахшей лекарствами больницы.

Теперь, после знакомства с обитателями Каплина дома, он мог бы сказать, что хочет чинить старые дома. Это увлекательно, и можно найти клад. Ребята из класса убегали играть на старинное кладбище, нашли однажды череп. Он бы хотел с ними, но его не брали — как внука директора школы. Мало ли что. Настучит еще.

Так, увязая в рассуждениях и запинаясь о воспоминания, он дошел до дома. Директора школы еще не было. Сашка съел суп, поковырялся в салате. Потом с такой же неохотой поковырялся и в учебниках. Набросал что-то в контурной карте — и тихонечко заснул прямо за столом, положив голову на стопку книжек. Во снах к нему приходили пираты и совали в лицо черную метку, требуя возмездия. Сашка открыл глаза — бабка дергала его за руку, высвобождая помятую карту.

Увидев, что мальчик проснулся, она высыпала перед ним монеты.

— Это что?

— Денежки.

— Где ты их взял?

— Нашел. Это клад.

— Где нашел?

— В доме.

— В чьем доме?

— В старом доме на улице. Не знаю в чьем. Он был пустой. — Сашка опять немного приврал, потому что монеты он все-таки взял без спросу, а с этим у них строго. Бабка все велит вернуть. Но это полбеды — сама еще потащится возвращать. А он не хотел открывать ей свою теплую тайну, не хотел сообщать о своих друзьях, понимая, что она их точно не одобрит. И тогда — прощай мечты.

Сашка поджал губы и уставился в окно, намереваясь молчать. Ирина Аркадьевна смекнула, что Сашка уперся и ничего ей не скажет. Сегодня она устала, и злиться на внука не было сил. Хотя стоило бы. Ее мечты о кадетском корпусе рассеивались как дым, потому что Сашка ни в какую не хотел учиться. Конечно, она надавит своим директорским авторитетом, на бумаге повысит ему успеваемость. Но ее возможности не беспредельны — в кадетском корпусе есть свои экзамены, и если Сашка, получив хороший аттестат у нее в школе, провалится на вступительных испытаниях в корпусе, то позор ляжет на ее школу, на нее лично. Поэтому она измышляла способы принуждения, на которые внук не стал бы реагировать как обычно — отрицанием, сбежав с уроков, уйдя в молчанку. Эффективные методы все никак не находились. А тут еще это. А вдруг украл? Тогда уж точно она никогда от него не избавится, кому нужен воришка. Ладно, оставим пока.

— Хорошо. Я их заберу, на время. Доделывай уроки. И завтра чтобы Алиса Васильевна мне доложила о твоей пятерке. — Напоследок бабка поддела мизинцем мятую контурную карту, мол, что за неаккуратность, и покинула комнату, плотно прикрыв за собой дверь.

А вот Сашка сидел и злился. Монет было жалко! Но, впрочем, он умел открывать бабкин шкаф, наверняка туда запрятала.

Ирина Аркадьевна, прислушиваясь к звукам в комнате внука, раздумывала о педагогических практиках. А еще вспоминала Виолетту. На самом деле она знала, где дочь, — та жила в соседнем городе, не так уж и далеко, всего-то ночь и полдня на поезде. Знала, что та работает в фитнес-клубе тренером. И даже знала в каком. Знала, что у дочери есть муж и новый ребенок. И даже имела представление, где и как они живут, — специально нанимала детектива. Неплохо живут. Даже хорошо. Она могла бы сказать Сашке — но зачем? Дочь ни в какую не хотела ни забрать его, ни хотя бы увидеть. Более того, она не желала встречаться и разговаривать с матерью ни под каким предлогом. Так и сказала детективу, в непечатных выражениях. Виолетта просто-напросто вычеркнула ее из своей жизни, вместе со всеми ее педагогическими практиками.

Ирина Аркадьевна собрала свою железобетонную волю в кулак, чтобы не зареветь. Вся горечь, которая копилась в ее душе годами, могла бы выйти слезами. Может, ей бы полегчало. Но она ничего не выпускала на свободу, такова была ее натура. И горечь разъедала ее изнутри. Иногда Ирина Аркадьевна ощущала себя огромной скалой, у которой внутри одни только беспросветные пещеры и лабиринты. За что Виолетта (которая, как ей казалось, и прогрызла эти страшные дыры и ходы в ее душе) обошлась с ней вот так?! Да, как мать она была с ней строга. Ну это смешно — какая любовь в пятнадцать лет? В пятнадцать лет нужно учиться в школе, думать о будущем и слушать взрослых. Мальчика родители забрали, увезли, перевели в другую школу. Мальчик одумался, и о нем нет ни слуху ни духу. И хорошо, Саша думает, что его папа погиб в автокатастрофе, так всем спокойнее. А ее дурочка?! Невозможно смириться с тем, что часть тебя бунтует, не подчиняется,

рвется прочь, — разве же ее собственная дочь не часть ее? Иногда Ирине Аркадьевне казалось, что Сашкой Виолетта и наказала ее, и одновременно от нее откупилась — мол, на, воспитывай, делай с ним что хочешь. Забудь обо мне и помни обо мне — одновременно.

Буря не утихала в ее душе никогда. Хотя она научилась справляться с ней, хотя бы не подавать виду. Но она была директором школы все-таки, и ее мучило, что такая же невыносимая болючая горечь, такой пустынный выматывающий ветер поселились в душе ее внука, будь он неладен, лентяй и упрямец. Господи, помоги ей уже освободиться от этого мальчишки, чтобы не видеть его бесконечных мучений!..

Мать, тоскующая по дочери, и ее внук, тоскующий по матери, запертые волей судьбы в одной квартире, прислушивались друг к другу. Сашка слушал, что делает бабка, намерена ли она проверять уроки и воспитывать его. Ирина Аркадьевна села на кухонный табурет и слушала, потягивая вечерний кофе, что делает Сашка. Она не могла его любить — он выражал собой всю ее тоску, приумножал ее вдвое и делал тем более невыносимой, что Ирина Аркадьевна, сама рано потеряв мать, понимала смысл Сашкиной потери. Она не могла любить свою собственную боль, она с ней просто жила.

Когда утром Сашка собирался в школу, Ирина Аркадьевна незаметно сунула ему в рюкзак гематоген и грушу.

— Телефон заряжен? — поинтересовалась она у внука, так как была твердо намерена проконтролировать посещаемость им уроков.

У Сашки была одна хитрость против бабкиной докучливости — он «забывал» телефон дома.

— Забыл? — ехидно спросила Ирина Аркадьевна.

— Забыл, — грустно пробормотал внучек и побрел в ванную, где предусмотрительно оставил телефон, прикрыв его полотенцем.

Отсидев географию и получив четверку, Сашка слинял из школы. Он пробрался к черному ходу, но сторож задраил запасные люки. Пришлось воспользоваться центральным входом. Это был неудачный побег — Ирина Аркадьевна стояла у окна и засекала внука, крадущегося вдоль кирпичной стены к ржавой боковой калитке школьной ограды. Она постучала в окно, но Сашка не услышал, сиганул за угол, юркнул в калитку и был таков.

Ирина Аркадьевна метнулась к двери кабинета, схватив по дороге дубленку и шапку, напялив кое-как. У нее не было плана, а был порыв, педагогическая механика, отработанная годами, — догнать, схватить, наказать.

В коридоре перед ней расступились первоклашки, отпрянул от нее, летящей в шапке набекрень, физрук. Во дворе она едва не сбила с ног какую-то родительницу и, не сбавляя скорости, не оборачиваясь, прокричала:

— Извини-и-ите-е-е-у-у-о-о-о!

Сашки за углом, понятное дело, уже не было, но она увидела, как он улепетывает через сквер к дороге, и кинулась за ним по газону,

скованному снегом, цепляя елки и уснувшие зимние яблони. Куда ж его несет?! Куда его все время несет? Где он бродит? Что он видит, что слышит? Немыслимые вопросы внезапно взяли Ирину Аркадьевну на абордаж.

Сашка, удалившись от школы на порядочное расстояние, уже не бежал. Он остановился, наматал поплотнее шарф, поправил шапку, удобно устроил на спине рюкзак и не спеша пошуршал вдоль улицы. Ирина Аркадьевна сбавила шаг и пошла за внуком, двигаясь на некотором отдалении.

Мальчик брел и брел по заснеженной провинции, поворачивая то в один переулок, то в другой. Он трогал ставни, подбирал по дороге какие-то ветки, заглядывал во дворы. Из одного такого дворика кинулась на него собака, но быстро юркнула обратно, потому что человек топнул ногой и смело замахнулся на нее. Ирина Аркадьевна с облегчением вздохнула, что не пришлось выпрыгивать из-за угла, обнаруживать себя.

Она не испытывала нежности к этой части города, которая была слишком уж хаотична, непредсказуема, пестра и в то же время уныла, как все дряхлеющее. Дряхлость пугала ее по причинам вполне естественным, которые заставляли кружить возле зеркала, подмазывать, подтягивать, подправлять себя, вводясь в приятное заблуждение о продленной молодости. Слово «бабушка» было у нее под запретом, и внук называл ее либо Ирина Аркадьевна, либо «ты», либо никак.

Чуть менее раздражала ее беспорядочность — кривизна заборов, выступающие части, булыжники, которые с каким-то подземным тяжелым ветром закатились в эти дворы. Паршивые герани и колеусы в окнах, белье на веревках, кресла, которые кто-нибудь выставлял на улицу. А летом здесь из всех щелей торчали сорняки, а на крышах — березовый молодняк. Когда-то в городе хозяйничал свирепый губернатор, склонный к порядку и даже казенщине. Он велел обрубать части домов, вытарчивающие на проезжую часть. Сейчас следовало бы все здесь снести и построить новые деревянные, экологически чистые дома. Что эта старая древесина? Черви, гниль. Антисанитария. Дворы можно перекопать, выровнять, замостить плиткой, сделать ровные газончики, как в Европе. Они с Сашкой ездили в отпуск в Чехию, там очень мило в этом смысле. Упорядоченность успокаивала, предсказывала ровное спокойное будущее. На нее можно было рассчитывать, как на преданного члена команды.

Сашка наконец притормозил, встал на обочине дороги напротив почернелого дома с новеньким крыльцом. Пропустил череду машин, перебежал на другую сторону — и прямо к дому. Взбежал на крыльцо, дернул дверь. Закрыто. Обогнул дом и исчез из виду. Ирина Аркадьевна решительно направилась за ним. Заглянула в одно окно, в другое. Взошла на крыльцо. Дом не отозвался на ее повелительный директорский стук.

— Александр! Ааалексаандррр! — зарычала она и направилась было туда, куда смылся Сашка.

Тут открылась дверь и выглянул мужик с костылем.

— Ага? Хозяйина только нету. А будет к вечеру. Он в разъездах, — опережая вопросы, поведал он миролюбиво строгой даме, оравшей под окном.

— Чей это дом? Почему я вижу, что мой внук сюда стучится, а потом исчезает?!

— Этого я вам сказать не могу, — равнодушно сказал мужик и вывалил на крыльцо свое грузное тело. Прислонился к перилам, достал сигарету.

— Вас что, совершенно не волнует моя претензия?

— Не волнует, — сказал мужик и закурил.

— А если я вызову полицию? В неизвестно каком заброшенном доме скрывается несовершеннолетний ребенок! В каком-то пристанище с темными личностями! Вы кто такой?! Что за вид?! Еще и с сигаретой! — Ирина Аркадьевна искала эпитеты поточнее и пообиднее. Она увидела, что мужик явно нездоров, по лицу видать — алкаш (все они алкаши), и не очень-то опрятен. Как раз под стать этой берлоге — она обвела взглядом древесную черноту толстенных бревен, зафиксировала грязные окна второго этажа. И вдруг почувствовала во все этом — и в мужике, и в доме — какую-то угрозу и надела совсем уж грубо:

— Я подам на вас жалобу. Вы бомж? Оккупируют памятники архитектуры, потом поджигают. Наркотики еще принимают. Вы вообще кто? Какое отношение имеете к моему внуку?

Полиция — это нехорошо. Но Маня Иванович (а это как раз был он) сохранял трезвость, никаких законов не нарушал. А что у невоспитанной бабы пропал ребенок, так это чей недосмотр?

— Я сейчас сам полицию вызову и сообщу, что какая-то идиотка дите потеряла. Чего разоралась? — сказал он спокойно. Притушил сигарету — докурит потом, в спокойствии, — и вернулся в дом. Дверь закрыл на засов — мало ли что.

Ирина Аркадьевна еще пошумела, поколотила в дверь, обошла строение, уперлась в остатки старинной ограды — но Сашка как будто испарился. Она, конечно, обязана сообщить о происходящем в органы. Отсюда мальчишка и монеты притащил, это же очевидно. Может быть, *они* вообще педофилы? Мысли роились. Нужно возвращаться в школу. Вечером педсовет. А Сашка никуда не денется.

Превозмогая безысходную усталость, которая вдруг навалилась на нее, Ирина Аркадьевна тихим шагом отправилась восвояси.

Сашка, нырнувший в тайную дверь на задах, тихо сидел в той самой кладовочке, ждал, пока бабка перестанет орать и уйдет. Отсидев с полчаса, он вышел — в дом.

Маня Иванович, который мазал в это время ногу вонючей, но очень лечебной мазью, вздрогнул, увидев всклоченного Сашку.

— Так это ты, что ль, потерялся? — До него только дошло, что Александр — это, как есть, Сашка: — Мать твоя?

— Бабка.

— Ничего себе бабушка! — присвистнул Маня Иванович, который, несмотря на острую ситуацию, вполне смог оценить приятный «фасад» скандалистки.

— Зато мама у меня добрая, — уверенно добавил Сашка. Он мог бы прямо сейчас выложить свою историю и свои планы. Но решил дожидаться Марата и перевел разговор: — Может, еще клады поищем?

Маня Иванович отставил в сторону пахучую баночку.

— Я, малец, свой клад уже, похоже, нашел.

На улице темнело. Хлопнула вдруг входная дверь. Забился легкий женский смех, замельтешил, как снег в окнах. Сашка к тому времени, налазавшись по дому, напившись потом кофе из пакетика «три в одном», который любезно набодяжил ему Маня, устроился на широком подоконнике в зале с лепниной на втором этаже и закемарил.

Маня Иванович разбудил его — нужно было отправлять пацана домой, а то бабуля и впрямь заявление напишет. Сашка нехотя натянул куртку, желая продлить тепло, которое накопил в дреме. Бабка ему, конечно, устроит. Но это ничего, скажет, что шатался по городу. Жаль только, что не поговорил с хозяином, но на втором этаже зато уже присмотрел для себя и мамы большую комнату, которая ему очень понравилась.

Мальчик шел, покачиваясь, до конца не проснувшись. Он чувствовал, что в доме позади горит свет, что Маня Иванович еще не закрыл дверь, смотрит ему вслед. И так, даже отойдя от дома на почтительное расстояние, он спиной, затылком словно улавливал доброе свечение коридорной лампы. А войдя в свой двор, взглянул в окно собственной комнаты. Шторы раздвинуты, между ними — фигура, замерла, не шевелится. Вот бы это была мама! Но фигура выбросила руки в разные стороны, схватилась за половинки штор и резко дернула, захлопывая глазик окна. Бабка. Увидела. Сашка вздохнул и поплелся к подъезду.

Ирина Аркадьевна утерла слезы, приняла свой обычный воинственный вид. И, сняв цепочку со входной двери, заняла удобное для нападения место в кухонном проеме.

Глава 17. Деликатное дело

Дягилев и Дон Педро не пришли в назначенный день. Потому что накануне перебрали.

Через день, приведя себя по возможности в порядок, Дягилев собрался навестить Маню Ивановича, извиниться и обновить их договоренность. Дон Педро не мог пойти, так как его похмелье в этот раз было очень нездоровым.

Возле дома топтался какой-то мужик. Роба грубая, не сулящая ничего хорошего, отчаянная. Дягилев таких побаивался. Всяких людей встречал он в своих скитаниях, но граждан с таким вот опасным огоньком всегда избегал. Люди как люди, но что-то в них было не то, порченность, что ли, какая...

Хотел проскользнуть, но мужик его окликнул.

— Слышь! Не покурим?

— Покурим, не вопрос. — Дягилев полез в карман пуховика, вынул зажигалку, но сигарет не нашел. Забыл, однако, на базе.

— Мои покурим. — Мужик протянул пачку.

Вот странно — сигареты есть, а прохожего тормозит, подумал встревоженно Дягилев и спросил:

— Так ты компанию, что ли, ищешь?

— Можно и так сказать. В одну харю дымить скучно. Типа того. Хозяев не знаешь, случаем? — Мужик ткнул пальцем в Каплин дом.

Дягилев, который ничего хорошего от мужика не ждал, поскольку по наколкам на руке определил сидельца, решил схитрить.

— Не, не знаю. Товарищ послал предупредить, что прийти не сможет — работает он тут, на доме, по строительной части.

— Заброшка же? Нет? — Мужик прищурил темный глаз.

Дягилев сообразил, что дело нечисто — так прищуриваются, когда что-то знают, а тебя просто хотят вывести на ответ. Но виду не подал.

— Восстанавливают исторический памятник вроде. Один архитектор в наследство получил, так вот и старается. Семейный особняк, штоль, мастерит. А тебе работа нужна?

— У меня, по ходу, дело деликатное. А платят хорошо?

— Платят вроде.

— Давно мастерят?

— Да вроде нет.

— А документы есть? Или так, самодеятельность?

Мужик собирался длить разговор, Дягилев это понял. И вдруг ощутил какой-то щекотливый интерес. Нутром чувствовал — надо валить, но любопытство и еще что-то, скрытое за любопытством, заставили его задержаться и спрашивать:

— А какой у тебя интерес? А то, может, и у меня какой интерес найдется...

Мужик кивнул, мол, пойдём, и пошаркал к остаткам усадебного забора. Он встал за белой колонной так, что его не было видно ни со стороны дома, ни со стороны дороги. Конспирация. Дягилев уважал людей, которым было что скрывать. Он и сам втянулся за другую белую колонну, и так они стояли, прилипнув к беленому камню спинами, и смолили крепкие сигареты. Их разделяла пара метров, и тихий голос нового знакомого четко долетал до ушей Дягилева, обыденный, невыразительный:

— Подчистить тут надо, гадюшник разгрести. Серьезные люди платят серьезные деньги... — Он назвал сумму, очень тихо.

Дягилеву показалось, что это шутка — многовато денег за что бы то ни было. Он присвистнул.

— И за что столько дают?

— За санитарно-эпидемиологические работы.

До денег Дягилев не то чтобы был жаден, но сумма изрядная. И он позавидовал. На металлоломе столько не заработаешь, мусор разгрести

тоже невелика деньга. А вот если бы за раз столько, то и кое-что в жизни наладить можно было бы. Что конкретно наладить, он не прикидывал — так, наладить жизнь вообще, чтобы текла веселее. А то и, глядишь, можно забронировать участок на кладбище, и памятник заранее купить, и все такое. Застраховаться, объемно говоря, на последующее существование. Можно присмотреться еще при жизни, понять, как лежать будешь, какие птички тебе посвистывать будут. А то и белки заглянут. Из деревьев он предпочитает рябину, но можно и сирень, пушистую, белую, с душераздирающим ароматом. В ботаническом саду тоже можно купить заранее и посадить на участке. Ну и оградка, конечно. Не с пиками — с пиками как-то хищно, а с кругляшами металлическими, чтобы птичкам удобно сесть и напевать. Н-да. Можно тогда, наверное, и домой вернуться, в свою квартиру. И зажить, зажить...

— Интересует? — вдруг вытащил Дягилева из мечтаний голос резкий и крепкий, похожий на кнут.

Дягилев смутился, потому что ничего не ожидал, просто плавал в мечтах. Он даже не дошел еще до того места, где начал бы прикидывать, а на что он, собственно, ради таких деньжищ согласился бы. И он спросил:

— Помощник нужен?

— Ну как сказать... не помешал бы.

Мужик ничего не говорил конкретно, все как-то обплывал, обруливал любую конкретику. Дягилев начинал раздражаться.

— А что делать надо?

— Не сильно хлопотные дела.

— Ну а конкретнее?

— Огоньку добавить. Очищение огнем — слышал? Местечко прекрасное, застроится махом. Всем будет хорошо.

Дягилева окатило холодом — от того, что он сообразил: он ведь давно понял, куда клонит мужик, но слушал его и даже примерял к себе возможность заполучить крупную сумму. Понял по тому, как тот юлил, как посматривал из-за ограды на дом — оценивая, но равнодушно. А поняв, не отверг, а продолжал слушать, надеясь устроить жизнь за счет возможной прибыли. Но, с другой стороны, это разве преступление — хотеть хорошо жить? Все хотят.

Дягилев выглянул из-за своего столба, окинул взглядом Каплин дом. Он уважал порыв Мани Ивановича. Да и намерения архитектора были ему понятны. Но, с другой стороны, мало ли горит вокруг деревяшек, одной больше, одной меньше. И о пользе этого, от ветра шатающегося, хозяйства он бы поспорил. Живали и в таких. Бытовых условий никаких, да и страшновато ночевать, особенно если по всему видно, что осталось избушке недолго: кажется, что пространство наводнено голосами, перед которыми даже и чужаку приходится держать ответ, мол, чего заявился. Дягилев не был суеверен, но кое с чем необъяснимым в жизни он встречался.

А если бы и скормить огню все это нехитрое хозяйство? Архитектор купил бы себе квартиру, как обычный человек, да и жил бы. Чего

неймется? Наверное, денег много, девать некуда. Маню, конечно, жалко — пристроился он уже, обжился, это сразу видно. Но и для него местечко найти можно — не в землянке на металлобазе, так в доме инвалидов, а то и на квартире самого Дягилева: ведь если он такую кучу бабок получит и все устроит, как мечталось, то вернется в свою хату и Маню туда на вечное жительство прихватит. А то и завещает ему квартиру в наследство. Для Мани это просто благоденствие. Так еще и женится, глядишь.

Сценарий больше не казался Дягилеву таким уж пессимистичным. Идея сама по себе, рассуждал он на скорую руку, плоха быть не может. Плоха она только последствиями. А если по факту и плохого ничего не произойдет — все будут при квартирах, хозяин, как знать, может тоже не сильно пострадает, землю продаст строителям, — то зачем же нагнетать? А может, произойдет только хорошее — обновится город... Мысли вползали змеями.

— Надумал? — вторгся мужик в свободное пространство размышлений Дягилева и поставил мыслителя перед выбором.

— Телефончик мой зафиксируй. — Дягилев спешно, сбиваясь — в глотке пересохло, надиктовал мужику номер и шумно, скрипя сухим, похожим на хирургическую вату снегом, двинул прочь от дома. С одной стороны, он надеялся, что новый знакомец позабудет о нем. С другой — понимал, что он уже ввязался в какую-то неприятную историю, и чуял шкурой, что продолжение будет.

Мужик тем временем вышел из-за колонны и стоял, рассматривая окрестности. Да, денег они со свояком здесь поднимут...

Жека был рад, что дурак сам приплыл к нему в руки. Таких дураков он вычислял на раз — по глазам, по разговору. Была в них какая-то слабина. Бельмо, пленочка как будто бы прикрывали гнилую ямку: надавишь чуть — и потечет. Жека, обратись к нему жизнь другой стороной, мог бы стать человековедом — психологом каким-нибудь. У любого сразу вычислял слабое место, а если и не сразу, то подбирался к человеку, испытывал, надавливал, ввергал в неблагоприятную ситуацию. Ему нравился страх, который возникал у жертвы благодаря какой-нибудь неожиданности.

Провокации, которые он называл «прививочками», снискали ему расположение в кругах соратников по нарам — когда он бывал им полезен. Но также и ненависть — когда он действовал в интересах, им противоположных. Впрочем, Жеку мало волновало и то и другое. С каждым годом у него становилось все меньше поводов для волнения и сомнения. Он отмечал это в себе с гордостью, присваивая этому качеству, которое иной отнес бы к равнодушию или гордыне, свойство силы характера. На зоне он повидал всяких людей. И в самом железобетонном сидельце умел высмотреть слабину. Со временем Жека пришел к выводу, что непорченных людей вообще нет. Он с большим интересом посещал лекции о всяких грехах, которые зычным голосом

читал отец Иоанн, приглашенный поп. И по тому, как противно дрожала Иоаннова борода, когда после работы тот принимал обед в компании зоновского начальства, Жека еще больше убеждался, что нет в обществе людей чистых.

К сорока годам он научился презирать всех без исключения, не оставляя людям права на слабости. И презрение это граничило уже с ненавистью. Кому он мог ее адресовать? Кто создал человечество таким? Ну а раз так, то и любое действие, даже и самое непотребное, может быть оправдано. Значит, и в плохом нет, в общем-то, ничего плохого — зло обыкновенно, и где-то в этой обыкновенности границы его размываются до степени неразличимости. И вот тебе человек — ни то ни се, гора мяса, умрет, да и пускай, чище вокруг будет.

И для себя Жека не мыслил никакого будущего: один раз живет — надо жить, значит, вольготно и сыто. А для этого нужны деньги. Никаких других пристрастий Жека не имел — не обзавелся.

У Дашки-дуры мужик без понимания, но хотя бы смиренный, сговорчивый. И сеструхе хорошо, и Жеке — Толику выпадали не очень приятные поручения, которые он ради семейства время от времени выполнял. В этот раз Жека справился бы и без Толика — но связующим звеном была его сестра Раечка, а значит, никак Толика не кинешь. Ну ладно, тот займется матчастью — сделает зажигательные бутылки, передаст их исполнителю. Главное, чтобы бомжик не передумал. Но рожата у него не сильно здоровая, кочумает где-нибудь на теплотрассе. Денег он ему отдаст маленько, четверть от обещанного, это Жека сразу продумал. Но и то, для такого отброса — нормально. Перепиться вусмерть хватит. Да уж сразу бы наверняка, и никаких тогда тебе свидетелей...

Жека натянул шапчонку поглубже, воротник поднял — для конспирации — и выскользнул из глубины квартала на тротуар. Надо было навестить Нольберга и забрать у него аванс.

Нольберг больше не хотел встречаться с «пролетариатом» — так он называл про себя Толика и Жеку. Поэтому, когда те заявили, охрана не пустила их в здание. Навстречу визитерам спустилась Раечка. Так и подозрений меньше — может, к сестре брат по семейным делам пришел. Раечке было поручено передать конверт.

Нольберг подошел к окну кабинета и смотрел на серый пустой мир. Ярость его улеглась. В конце концов Агата сама освободила его от необходимости признаваться в чем-то — во всяком случае, приносить вслух собственную вину. Его отношения с Элеонорой были привлекательны. И, наверное, он мог бы на ней жениться — люди его положения могут позволить себе такую роскошь, как женитьба на Афродите, усмехнулся Нольберг, даже если богиня не слишком умна и пусть даже глупа. Ему совершенно не интересен ее ум. Умные женщины все усложняют и только прикидываются покладистыми. Агата умна. Те годы, пока они были вместе, он об этом как-то не думал. Но при этом всю их общую жизнь предполагал, что она совершенно

безвольна, ей ничего особенного не нужно и она вообще не способна на какую-либо самостоятельность. С чего он это взял?

Зато теперь легко будет оправдаться и перед отцом за собственные похождения — если о них вдруг пойдет речь. В конце концов, не он, формально, начал все это — он застукал жену, а не наоборот.

Он думал о разных способах мщения. Может быть, он даже не разведется с ней, а будет назло присутствовать в ее жизни. Ему не давало покоя то, что с Агатой случилось нечто странное и, может быть, редкое.

«Как это возникает? — думал он. — В какой момент чужие люди способны взглянуть друг другу в глаза с оглушающей тишиной страсти?» Он предвидел, что такое может происходить не только с другими людьми, но при каких-то особых обстоятельствах могло бы случиться и с ним. Болезненное любопытство возвращало его воображение к тому моменту, когда неприятная новость о жене только дошла до него. Он так же стоял у окна, день точно так же остановился в нелепой пустоте и никуда не двигался. Тогда он был разозлен и растерян. А теперь? А теперь, кроме всего прочего, он чувствовал и разочарование, почему это случилось не с ним. Элеонору он не любил, она его тоже — в этом он не льстил себе. Виктор вдруг понял, что если собрать все в кучу, то чувствует он не что иное, как горькую зависть.

А может быть, его собственная жизнь как раз нуждалась в чем-то таком — в поступке, который сломал бы привычный быт, вверг бы в хаос все, что вертелось по правилам, установленным до него. Он даже примерно знает, что скажет отец, узнав о его семейных сложностях: это все, на что ты способен? Наверное, он уже знает, наверное, ему уже донесли, намекнули и скоро он придет выразить свое презрение. Только не здесь, не в такой казенной обстановке!

Виктор накинул пальто и быстро уходил по красным дорожкам. В этом стоячем воздухе, казалось, и дышать-то нечем.

Но во всей этой истории особенно раздражал его дом, который, сколько бы он о нем ни думал, вызывал, поднимал из какой-то глубины ощущения детства. Вот и сейчас вспомнилось, как мальчиком он любил слушать разговоры на взрослых посиделках — на их просторную новую деревянную дачу съезжались гости, мужчины и женщины. От них исходили разные ароматы, их голоса разбредались по всем комнатам, мешались со скрипами дома и смолистым духом. К вечеру от ветра начинали громко скрипеть еще и сосны на участке или дождь бил в стекла веранды, раздавал оплеухи металлической крыше. И еще долго после отъезда гостей ребенок ловил знакомые запахи и слышал чужие голоса повсюду — царство теней, доступное лишь мальчишке. Эти ощущения утверждали невероятную глубину окружающего мира, который в худшие моменты его крошечной жизни казался простым и плоским. Ощущения были мимолетны, но дарили такую свободу, что в ее определенности даже большой отец казался мельче и не таким суровым. Потом от этой дачи избавились, предпочтя ей кирпичную крепость, домище вычурного дизайна. А он, десятилетний, еще долго вспоминал, как сидел в таинственной кладовке соснового домика,

переставляя банки с соленьями, или прятался за лестницей, или, засыпая, наслаждался застольными песнями и непонятной беседой взрослых. Позвякивали рюмки, стучали вилки, прорывал нежную ткань вечера легкий женский смех. Потом мальчика подхватывали теплые руки и уносили куда-то, в кудрявую страну сна. Вслед ему скрипели добрые деревья.

Но как будто все это сейчас имело значение... Все давно забылось, легло где-то на дальние полки памяти, изредка подавая жалкие сигналы, возвращаясь, как в небытие, к дачным сквознякам. Это лишь сентиментальность, отвлекающая от реальной жизни. Если бы у них оставалась еще эта дача, он бы, наверное, сжег ее.

Для человека, знающего разные города, этот сохранял предельную независимость — для него не получалось придумать короткую и емкую, удобную характеристику. К этой мысли Марат приходил каждый день.

Сравнивать его с Москвой и в голову не приходило — в ней в основном делали карьеру. Москва для него была жива в старых снимках, которые раскрашивали теперь нейросети, и во всем старом, что еще не успели окончательно и грубо подновить. Где-то в исторической глубине спрятала она, как в земле, свои прекрасные корни до лучших времен. Стояла теперь, огромная, ни жива ни мертва, пока напяливали на нее целлулоидные, промышленно изготовленные, кичливые сарафаны. Сердце ее как будто уснуло, редко билось. И когда-то кто-то, может, и расплавит ее пластиковый многослойный гроб, достанет широкий, роскошный, противоречивый город — и все станет по-старому. Тревожные и одновременно умиротворяющие картины, которые мерещились Марату в остатках прошлого — например, в черноголовых церквях с неровными стенами, в трогательной кривизне переулков, — остались детским сном этой нынешней Москвы, спящей царевны из бог весть какой сказки.

Да и что она? Лишь один город среди других, просто больше. Все остальное — огромные пространства вокруг, вся эта движущая сила — дышало и ворочалось, требовало к себе. Оно — невероятных широт провинция — внушало человеку самого себя.

Марат объездил множество городов и городков. В каждом находил свой характер. Его собственный город был не таким податливым, сопротивлялся очевидным характеристикам, был текучим, как реки, проходящие через него. Здесь не было мягкой силы Владимира, озвученной рыками каменных зверей, бредущих по белым стенам. Не было грубых объемов Екатеринбурга, перемеренного пролетарскими линейками. Не было, с другой стороны, и призрачности Улан-Удэ, который, казалось, так и не стал оседлым и при любой возможности готов откочевать, покотив перед собой огромную каменную башку с центральной площади.

Здесь природа не вторгается в город, не испытывает его, не противоречит ему — она объединена с ним чем-то покровительственным.

Кровью, может быть. Она его нянчит, и суровость ее — льды, ветра — никак не отменяют ее любви. А когда речь заходит о том, что этот город уютен, то старожилы поднимают брови или усмеваются: в чем уют?

Люди этого города выражают его характер — они противоречивы, упрямы, не согласны друг с другом. Но в общем добры. Их действия в общем направлены к созиданию — город чист, достаточно обихожен, хотя его новые районы все больше приобретают скомороший вид: не имея перед собой общего плана и воли, его направляющей, люди создают пеструю несогласованность, которая сначала радует их неприхотливый глаз, а потом начинает раздражать. Но разрастается кустарник, появляются сосенки, закипает зеленая пена газона под ногами — и вот уже все примиряется между собой, существует гармонично. Может быть, это стоит назвать привычкой? А может, это нечто большее, шаманизм.

Уютно ли здесь? Это как посмотреть. Иногда уровень уюта зашкаливал — когда Марат, например, шел через мост мимо тех мест, где сидел с приятелями в засаде против зареченских мальчишек. Или стоял на остановке, которую поставили в паре метров от того места, где нашли скелет волка, державшего в лапах человеческий череп. Газон у райсовета красовался чистейшим снегом, деревья разрослись, создавая замысловатую геометрию веток и веточек.

Но чаще ему казалось, что никогда не бывало здесь уютно — как не бывает уютно вообще в российской истории. История — способ, которым человек может быть проявлен в природе. Он выпрастывается из нее, как из пеленок, и делает свои глупости или совершает свои подвиги. Иногда одно неотлично от другого, иногда лишь спустя время становится понятно, что глупость была подвигом или наоборот. Город — это целое собрание историй в парадигме одной, большой и замысловатой, в которой он, как создание, бунтует, мечет и рвет. Он идет с обозами в Монголию, поднимаясь и спускаясь по Круго-морскому тракту, по Старокомарской дороге, взбираясь на перевалы Хамар-Дабана, скатываясь в долины прозрачных диких речушек. Он мечется, как заяц, по заснеженным степям, спасаясь то ли от местных духов, то ли от собственных грехов. Пускает корабли по северным рекам в надежде на нечто такое, чему и во сне не присниться. Рвет зеленое тело тайги выстрелами, собирает соболей. Моет злое золото, качает черную нефть там, где сам черт копыта отморозит. И ради чего?..

А ради чего он сам бросил привычное и перешел на сторону непривычного? Просто что-то здесь толкает человека к авантюрам. Что-то здесь всегда манит, обещает разгадку, тревожит тайнами — их не перечесать. Даже здешние памятники нетривиальны: бюсты местных святителей больше похожи на портреты суровых первопреходцев или генералов, украшенные непреклонным и даже жестоким выражением святых лиц. Адмирал Колчак, исполненный на деньги уголовного авторитета, упрямо задумчив, уставился на пешеходную дорожку, а под ним фигуры — красноармеец и белогвардеец — застыли

с оружием в отрешенных позах, слизанных ваятелем с ассирийских барельефов.

Да и предок, купец Каплин, был склонен к риску. Как и другие, наживался, на чем мог, держался за ухваченное, снаряжал суда, договаривался о поставках в Европу, рисковал в Азии, сам ездил на прииски так глубоко на север, что о нем не слыхивали до полугода. Бывал жесток с работниками. Особенно приисковые, чьей силой он приобретал свои основные богатства, поражались то его беспощадности, а то — отходчивости. Каплин кое-что построил в городе, может теша самолюбие перед соседями, может замаливая грехи, а то ли просто так, из гордости. И что был за человек? Хороший? Плохой? Марат не торопился с ответом. О предке он знал по книгам: мол, меценат, большой торговец, снаряжал суда, — тема модная, краеведы поработали. Старших родственников не осталось в живых. Родители о Каплине знали мало — не интересовались. Семейная легенда сохранила только это темное крылечко, только мутные, туманные воспоминания о запросто убиенных. И всякий раз, когда Марат приближался или отходил от Каплина дома, чувствовал он, будто кто-то провожает его или же, по обстоятельствам, встречает. Ничего не умерло. Все продолжало быть.

Конечно, скорее всего, это Маня Иванович выглядывал из окошка или курил на крылечке или за домом, пуская душный дымок. Но, собственно, и сам Маня Иванович, странный новый знакомый, был Марату как посланник, сопутчик-проводящий — то ли в загробном мире, то ли в мире между живым и мертвым. В утерянное прошлое страшно заглядывать в одиночку.

...Да и вообще, в старинных городах как в лесу: зачастую, когда тебе кажется, что тебя что-то преследует, чаще всего это ты сам.

Однажды днем, когда натянуло большую снеговую тучу и в воздухе остро запахло большим снегом, в Каплин дом постучали. Громкий, официальный стук. Марат накануне уволился наконец из театра, режиссер пожал руку на прощание, сочувственно заглядывая в глаза. Назавтра была назначена встреча с Еленой — следовало решить, что делать с бюро. Он обдумывал, каких клиентов заберет себе, как они станут работать, смогут ли работать вместе или же стоит окончательно исчезнуть из ее жизни. Рука его между тем бродила по старым шершавым чертежам, словно желая скорее приступить к настоящему большому делу. Намечался снос лишних, советского времени, стен, сделавших из комнат клетушки.

Маня Иванович у себя строгал что-то самозабвенно, ронял то ли костыль, то ли инструмент, ругался.

Марат вздохнул и впустил гостя.

Перед ним оказался полицейский. Робко вошел, протиснулся между старой мебелью, которую Маня Иванович обрек на выброс — дешевые корпусные изделия, уже непригодные к починке. Полицейский оглядывал дом, потрогал обнажившуюся дранку.

— Починим, — пообещал Маня Иванович, выглянув из своего угла, не рассмотрев еще, что человек-то в форме. Перед полицейскими Маня Иванович по привычке бездомного просто бы сник и молчал, как беспомощный одуванчик.

Старший лейтенант Сережа (а это был именно он) оробел, хотя по натуре и должности был не робок. Он снова чувствовал себя мальчишкой, которого бабуля водит в парк кататься на колесе. Детская часть его, которая никуда не делась, гнездилась где-то, пряталась под форменной курткой, охотно откликнулась на знакомый запах преющего дерева.

— Кто хозяин? — спросил он сурово, а дыхание перехватывало.

Марат поднял руку, будто бы его попросили проголосовать.

— Жалоба на вас поступила. От директора школы номер... — Сережа замялся. Он забыл номер школы.

— Ага... — недоуменно-вопросительно сказал Марат и, широко открыв дверь в свое жилище, пригласил непрошеного гостя войти и присесть.

— Надо взять с вас объяснение.

Жалобу накатала Ирина Аркадьевна. В жалобе был сплошной сумбур — и лейтенант Сережа это понимал. Ирина Аркадьевна уверяла, что малолетние школьники бегают в опасных необитаемых местах вроде Каплина дома. И, наверное, даже пропадают там, во всяком случае, ноги точно могут себе переломать, а то и попасть в руки неких преступников, которые могут их, например, похитить, а то и чего похуже. Она жаловалась еще, что в необитаемом доме на нее напал мужчина, который грубо разговаривал и курил ей прямо в лицо.

— Я не курю, — ответил Марат, которого ситуация начинала забавлять. Он понял, что с визитершей разговаривал Маня Иванович.

— А кто-то еще здесь проживает?

— Мой сосед. Работает на меня, памятник истории, как видите, восстанавливаем.

Маня Иванович приковывлял и стоял в дверном проеме, рассматривал ситуацию.

— Я разговаривал с одной дамочкой. Пришла, обругала рабочего человека, инвалида, — это вот к чему? — возмущенно прогундосил Маня.

— Так дети здесь не пропадали? — спросил Сережа и, поняв, что спросил какую-то глупость, застрочил буквы в своем блокноте. — Надо будет отчет составить. Вас вызовут.

Он выспросил все, что предполагал протокол. У Мани Ивановича был свежий, недавно по настоянию Марата полученный паспорт, который он с большим удовольствием предъявил. Марат выкатил на стол документы на дом. Лейтенант все посмотрел, потом обратил внимание на старые чертежи.

— Все законно, не волнуйтесь, — уверил Марат.

Но Сережа ни о чем таком и не подумал, ему просто было интересно. Он кивнул. А уходя, уже на пороге, спросил:

— Дранку будете убирать? Чистые бревна лучше.

Глава 18. Визит

Убирать дранку поручили Дягилеву и Дону Педро, когда они наконец заявили. Маня Иванович, бывший в этот день за хозяина, строго поинтересовался, почему это они отсутствовали.

— Приболел товарищ, — кивал Дягилев в сторону Дона.

Это было правдой. Но правдой было так же и то, что товарищ вполне мог позаботиться о собственной персоне. Просто Дягилев чувствовал себя не в своей тарелке. Он понимал, что в его жизни произошла какая-то перемена и она была нехорошей. Поэтому ему приходилось шутить, ломать комедию больше, чем обычно, скрывая события собственной души. Всю неделю он ждал рокового звонка. Он чувствовал себя в ловушке.

А когда позвонили, он не сказал «нет». Он промолчал в трубку и теперь успокаивал себя тем, что не сказал и «да». Но внутри понимал, что в отказ уже не пойдешь, что выдал себя, много о себе рассказал и его найдут, если захотят. Но можно просто смыться из города, уехать, наконец, в деревню к тетке... В общем, ему пока было чем себя успокоить. Поэтому он отделял от стены дранку, шутя изо всех сил. Тем более что Дон Педро снимал дранку молча. У него, ко всему прочему, резался зуб мудрости, ему было не до разговоров.

Марат приехал домой к вечеру. Он уладил дела в бюро.

Он не удивился, что Елена обрадовалась его появлению, — она могла решать текущие дела, но двигателем процесса с самого начала был Марат. Клиенты приходили именно к нему как к человеку, который из малости мог создать нечто значительное, современное.

Они договорились работать как раньше. У обоих, собственно, не было выбора. Елена не привыкла наниматься на работу, а Марату нужны были средства, в том числе и на дом.

— Ты все старину поднимаешь из тлена и праха? — иронизировала Елена, отмечая, что муж, пока еще не бывший, выглядит хорошо. И она знала эту его умиротворенную улыбку. И она ей не нравилась.

Женская интуиция, которой Елена демонстративно, как прагматик, не доверяла, тыкала ее носом в эту улыбку: мол, что-то ты упускаешь, мол, он уже счастлив и без тебя и к тебе не вернется. В какой-то момент у Елены кольнуло сердце: у него, наверное, кто-то есть.

Эта мысль, конечно, отравила ей встречу с Маратом. Но она хотя бы закончит дела, обеспечит себе нормальное существование — а затем разберется и с другими проблемами. И все выяснит... Пока они листали бумаги, лущили какие-то папки, как гороховые стручки, Елена поглядывала на Марата, пытаясь прочесть что-нибудь на его лице.

Впрочем, ее неведение не было долгим. Когда они завершили бумажные дела, Марат сказал:

— Я кое-кого встретил.

— Боже, какая типичная фраза! Судя по типичности, ничего особенного? — Елена была ядовита и в быту, но когда дело касалось задетых чувств, в ней просыпался целый клубок злобных тварей.

— Особенное. И я хотел бы побыстрее уладить наши дела.

Он подразумевает развод! Елене хотелось взвизгнуть, но в ней жила железобетонная уверенность, что никогда, ни перед кем нельзя выказывать своих горьких чувств. Это непременно сочтут за слабость, которой не грех воспользоваться.

— Быстрее — это как? Чемоданы ты уже забрал, машину тоже...

В таких ситуациях, знал Марат, хорошо срабатывало молчание. Но только не сейчас — сейчас все нужно было выяснить однозначно, навсегда. Освободиться. Конечно, он думал об Агате. Но Елену он оставил не из-за нее. Эти два события — расставание и встреча — были почти не связаны.

Елена включила кофемашину. «Тыр-тыр-тыр», — стонала машина, покачивалась. Она была неисправна, хотя кофе еще варила. Никто не отвез ее в сервисный центр. Такого не могло бы случиться раньше, когда их жизнь была равномерной и предсказуемой. Елена бы всучила ему эту чертову машину, и он бы как миленький отправился на другой конец города. Да, с Еленой надо расстаться побыстрее.

— Завтра едем. Торги, дают большой заказ — несколько домов, садик. Недалеко от тебя, кстати. — Елена хлюпнула кофе. — Надо быть. Будешь? Обязательно будь. Возражения не принимаются. Ты нужен. Без тебя ничего не выйдет. Кто им объяснит? Пойдем с застройщиком, Петр Павлович без тебя не согласен. Ты точно будешь? Не опоздай! Костюм чистый есть? И рубашка? Побрейся...

Марат не стал ждать окончания тирады, которой Елена выражала не заботу, а скорее презрение и заостряла свою значимость. Но все это были манипуляции, хорошо ему известные.

— Проехали! На встрече буду, — раздраженно сказал Марат. И вышел, не прикрыв за собой дверь.

Его волновал вопрос, который он, похоже, сам себе задал впервые: а какое у него будущее в старом новом доме?

Назавтра он оделся сообразно случаю — модно и с богемной оттяжкой, чтобы не слиться с подхалимской скукой синих костюмов. Его забавляла черта молодых чиновников форсить, но с оглядкой на начальство. Здесь уже целый год господствовала клоунская мода на синие костюмы — пиджак в талию, узкие и короткие брюки.

Дорожки привычно глотали человеческие шаги в просторных коридорах. Елена в этих коридорах всегда казалась выше, стройнее.

Они зашли в приемную, где сидела секретарша.

— Раечка, как жизнь? — улыбнулась Елена.

Раечка завела глаза вверх, под искусственные ресницы, пышностью с султанское опахало: мол, еще спрашиваете. А потом разулыбалась, выставив на рассмотрение крупные красивые зубы, и промолвила:

— Пять минуточек. Приглашу.

Секретарша была похожа на царевну из русских сказок — кровь с молоком, дородная, нарядная.

Тем временем подкрался и Петр Павлович, директор производства, — крупный мужчина в сером дорогом костюме, сидевшем, правда,

не очень. Он был большим профессионалом своего дела, знал стройку от и до, но ему с трудом давались и ношение таких костюмов, и разговоры, которые нужно было вести в этих стенах.

— Марат Сергеевич, о, ну отлично! А то как бы не знаю, кто, что. Им же объяснять на каковском? Вот и я говорю... Что понимают? Кто? Что? Одни какие-то виньетки...

Марат пожимал его теплую широкую руку, когда открылась дверь и фигура обозначилась в проеме, совершенно темная, высвеченная как силуэт ярким солнцем из окна напротив. Потом она шагнула в сторону, освободив свет, и стала обычным человеком — женщиной в черном пуховике и клетчатом шарфе. Агатой.

Следом вышел в приемную человек с сонными глазами — Нольберг. Марат встречал его раньше, строительные вопросы решались и в этом кабинете тоже.

Марат улыбнулся и двинулся навстречу Агате, но она, словно его не узнавая, резко шагнула к двери, ведущей вон из приемной, и ее поглотил коридор.

На миг, на мгновение, которое и не заметить, не отсчитать, казалось бы, человеку, в приемной зависла тишина. Елена, будучи чувствительной к таким колебаниям, насторожилась и посмотрела на Марата, который пытался сохранить непроницаемый вид. Но ее то не обмануть. Елена быстро связывала узелки, а взглянув на Нольберга, заметила в его как будто сонном взгляде цепкий интерес, адресованный ее мужу. Так же она заметила, что Раечка свела и развела свои нарисованные брови, перехватив взгляд шефа, взглянула на Марата — и засуетилась, предлагая кофе, или чаю, или воды. В другом случае Елена подумала бы, что дело в работе или хотя бы в этом несчастном наследстве, куда съехал Марат, — торчит ведь посередине города, всем мешает. Но вышедшая женщина меняла все дело. Елена повела разведку.

— Может быть, мы вас прервали? — сказала она вдруг извиняющимся тоном, изучающе глядя на Нольберга.

— Нет. Это моя супруга, заходила по семейному делу, — строго ответил Нольберг, забирая с Раечкиного стола толстую красную папку. Он посмотрел на Марата, словно адресуя ответ ему.

— Так чаю или кофе? — вмешалась Раечка, предотвращая опасность, которая, по ее мнению, могла последовать при встрече, как она догадалась, соперников.

Елена сглотнула комочек, который подкатил к горлу, ей, в принципе, стало все понятно, детали роли не играли. Она ожидала теперь самого неприятного. И даже сразу подстраховалась, представив Марата как партнера бюро и своего мужа — если что, то она такая же пострадавшая. Какое-то действие это произвело. Елена, правда, не поняла какое — Нольберг вздернул брови и вздохнул, и все.

Они расселись за большим столом. Мужчины сидели с непроницаемыми лицами. Нольберг безмятежно листал поданные ему бумаги, сверяясь с чем-то в красной папочке. Но атмосфера накалилась, и даже

простодушный Петр Павлович, который, глядя на лица, старался быть таким же невозмутимым, в конце концов заерзал на стуле.

Наконец хозяин кабинета поднял голову.

— Ситуация у нас изменилась. Новое строительство предполагается на большей площади.

Послышался свистящий звук — это облегченно выдохнул Петр Павлович. У Елены внутри напряжение тоже ослабло — больше земли, больше объектов, больше работы и больше денег. Елена на минутку подумала даже, что ошиблась, связывая свои узелочки, что вся эта драма молчания в приемной — выдумка ее воображения. Этого Нольберга она видела несколько раз в жизни, он сын старшего Нольберга, который имеет значительный вес и с кем, конечно, стоит поддерживать нерушимый мир. Елена успокаивалась и даже отхлебнула чаю, который Раечка все же принесла.

Тем временем Нольберг вывел на экран ноутбука изменившиеся планы и повернул экран к посетителям. Петр Павлович полез в карман за очками, Елена открыла свой ноутбук, вознамерившись сравнить схемы. Марат даже не пошевелился. Он только взглянул на экран и уже все понял.

По новому плану в городе не было дома купца Каплина.

Глава 19. Навсегда

Невероятная, простая и оглушительная месть. Настолько беззастенчивая, что даже Елене, которую немножечко завораживало коварство, на мгновение стало не по себе. Она понимала ту ловушку, в которую попадет Марат, желая воспротивиться сносу и доказать право старого дома на существование. Бесконечные экспертизы и суды, чтобы вновь убедить власти признать дом ценным памятником истории и архитектуры. Слишком влиятелен человеческий фактор. Слишком ничтожно старое дерево, которое если еще не рассыпалось, то всенепременно рассыплется через сколько-то лет. Конечно, есть шанс и на успех. Можно поднять знакомства, общественность, создать резонанс. Но часты пожары. А против огня бессильно любое мнение. Так что игра Нольберга, если уж он решит идти до конца, практически беспроигрышна.

— Экспертиза не подтвердила, что дом — памятник, он в плохом состоянии. Он всего лишь стоял в списке вновь выявленных. Вы же понимаете, что ваш личный интерес не может тормозить общегородскую застройку. Или может? Вы получите достойную компенсацию — ну хоть квартиру в новостройке. Так ведь, Петр Павлович? — Нольберг хорошо подготовился, говорил участливым голосом и даже не дал оглушенному новостью Марату толком возразить.

А старый строитель радостно пожал плечами — да не вопрос, дадим квартиру, большую. Он единственный был всецело доволен ситуацией, не понимая ее подоплеку.

— Я буду оспаривать экспертизу, — сказал Марат.

— Вы можете, — надменно покивал Нольберг. А внутри задрожал трусливый червячок — если о его самодеятельности узнает отец, будет плохо.

Визитеры покинули чиновничий кабинет и теперь молча спускались в узком зеркальном лифте. Даже Петр Павлович понял, что дела на самом деле какие-то смутные, не очень, и осторожно поглядывал то на Марата, то на Елену.

Елена, прощаясь, сказала только:

— Допрыгался.

Марат удивился, что в ее голосе не было злорадства, а была даже какая-то испуганность, осторожное изумление. Что-то подобное испытывал и он сам — но сильнее, гораздо сильнее. Он осознал возможности несчастного совпадения, жертвой которого должен был стать не просто дом — часть его самого, часть этого города, часть мира. Он думал: знает ли этот человек, что для него значит старая развалина? Может быть, Агата все ему рассказала? Может быть, она покаялась, отвернулась от него, Марата, и решила оставить все как было раньше, до их встречи, и тем самым предоставила мужу право на месть? Но это тоже весьма странные мысли. Он не желал даже допускать возможности такого тонкого предательства.

...И все-таки, может быть, у него больше не осталось ничего действительно ценного?

Нет, он и не думал сдаваться, даже понимая тщету своих усилий, если противник решится на крайние меры. Пожары зимой в деревянном городе, где еще нет-нет да и используют печное отопление, дело обычное. И то легкое, как ветерок, предупреждение, которое получил он в магазинчике Шурика, торговца антиквариатом, припомнилось ему ярко.

Он вдруг сообразил, что новость о доме ошарашила его куда больше, чем встреча с Агатой, может быть даже подстроенная. И это вызвало смятение. Нужно ей звонить. Их секрет раскрыт, они как на ладони. И значит, следует к чему-то прийти, определиться.

Он уже достал телефон. Но решил погодить — пусть поуляжется в нем самый буря. На улице сыпал тонкий снежок, сглатывающий все звуки, точно как прожорливые красные дорожки в коридорах огромного некрасивого здания.

Он сел в машину — и сидел минут двадцать, ни о чем не думал, заставлял себя не думать, чтобы не разозлиться и не впасть в суету. Свои ошибки он уже совершил, и теперь следовало быть осторожным, как саперу на минном поле. В армии он служил сапером.

У дома его ждала Агата. Она устроилась на ступеньках крыльца и уже, было видно, основательно замерзла.

— Холодно, вставай. — Марат быстро отомкнул дверь, толкнул створку.

Она не знала о том, что задумал Виктор, и была поражена. Теперь глаза ее налились слезами, потому что это все — из-за нее. Конечно,

встреча была подстроена — оказалось, муж попросил ее зайти в определенное время, занести бумаги, которые он якобы забыл дома.

— Представляешь, забыл! Да он никогда в жизни ничего не забывал! Я ведь чувствовала подвох! Я потребую, чтобы он прекратил. При чем тут вообще дом!

И правда, при чем?

Стукнуло что-то в одной из комнат наверху — Маня Иванович неделю назад деликатно перебрался туда, чтобы не смущать подругу хозяина.

Марат подумал о том, как и что он скажет своему жильцу. Выставит его? Вернет в ожоговый центр? Его охватило раздумье такого угрюмого рода, которое притупляет любое раздражение. Он молчал, отвернувшись к окну.

Наверху зашуршало, закрипела лестница, затем бухнула дверь на улицу. Маня Иванович, что-то почувствовав, вышел из дому. В форточку потянуло табачным дымом.

Агата сидела в кресле, которое, казалось, съежилось вокруг нее, обхватило, чтобы спрятать, не дать в обиду. Она сочла молчание пренебрежением, поднялась и вышла. Марат не стал ее останавливать, удерживать. Он встал у окна и в облаках мелкого снега то видел ее, то не видел, когда снег сгущался, проглатывая фигурку. Если она уйдет и не вернется, значит, так тому и быть. Значит, все должно пасть — все крепости: и стены, и чувства.

Маня Иванович тоже наблюдал за уходившей и в толк не мог взять, что случилось. Он не слышал ни криков, ничего, что указывало бы на ссору.

Наконец в комнате за дверью что-то скрипнуло, забилося, и Мане Ивановичу пришлось отпрыгнуть, когда дверь распахнулась.

— Ну что, пойдём рушить? — сказал Марат. У них на сегодня был намечен снос одной ненужной стены.

Агата почти дошла, оставалось только пересечь проезжую часть, открыть свой подъезд. Ей было душно, как-то тесно. Вернуться в Каплин дом? Но как оправдаться перед тем, перед кем хоть и нечаянно, но виновата? К тому же она не могла понять качество и степень своей вины.

Зайти поскорее в квартиру, принять душ? Вода обычно помогала, облегчала сухость тревоги, жар волнения, смывала яды косых взглядов, упреков. А вдруг Нольберг пришел с работы и ждет ее? Ей нечего сказать и ему. Но здесь она хотя бы чувствовала пафос вины, весьма примитивной.

Оставалось зайти в кафе рядом. Вскоре она ощутила тягостное спокойствие, хорошо ей знакомое, — как возникающее всякий раз, когда следовало принять сложное, неочевидное решение. Обычно она переключивала его на чьи-то плечи и легко, по собственной воле, принимала чужое как свое. У каждого человека должна быть судьба, но у нее давно уже нет никакого права на судьбу, а только текучка времени и сил, которую она рационально распределяет между теми, кто на них претендует. Она хотела бы чего-то своего. И вот узнала о себе

нечто: оказывается, она вполне способна нарушить установленное правило. Более того, она способна нарушить правильное правило, совершая определенно нехороший поступок. Но так она, наконец, обрела что-то личное.

Впрочем, это не радовало. Казалось, что у нее мало сил. Казалось, что, если Нольберг начнет ее стыдить и упрекать, она застыдится, все оборвет — и снова станет частью семейной игры, займет свое место в пыльном углу феодального замка. Так что она сидела в пустом помещении и часа полтора цедила какие-то чайные и кофейные напитки, которые наугад заказывала по картинкам в меню. А когда на улице стало темнеть, собралась — пора было забирать детей из садика.

В этот же день, ближе к вечеру, когда совсем стемнело, Дягилев беспокойно прихлебывал из громадной, изрядно помятой армейской фляги, сидя у себя в землянке. Ведь ему позвонили, ведь подтвердили обещание денег. Скрежещущий голос сказал, где взять «все необходимое» и аванс, — в урне на задах школы.

Теперь он спрашивал себя, с какой целью он вообще заговорил с тем мужиком, дал себя соблазнить. Конечно, он придумывал способы, как отползти, отговориться от поручения, — но уже после того, как он оставил мужику номер телефона. Такие шутить не любят, прибьют, и всех делов.

Страх нарастал, вдохновленный спиртным. И в какой-то момент стал почти осязаем — Дягилев увидел то ли сумрачную фигуру в темном углу, то ли клубление какой-то специфической и очевидно темной энергии. Его прошиб пот. И когда появился довольный Дон Педро, помогавший Марату и Мане сносить стену — за что получил честную оплату, — и притащил домой пакет продуктов, Дягилев сидел за столом весь мокрый, дрожал и таращился в пустой угол. Дон Педро решил, что у товарища очередной приступ какой-нибудь из его болезней.

— В аптеку надо? — спросил он и вздохнул, понимая, что пилить до города придется не меньше часа. Можно на такси, но таксисты не любят сюда ездить. Тем более что уже темнело и на месте таксиста Дон Педро и сам бы не поехал. Автобусы же, возившие садоводов по этой трассе, зимой почти не ходили.

— Не, не надо. — Дягилев оторвал взгляд от пустого места и еле-еле разлепил сухие губы. Но появление Дона Педро и его щедрое предложение (Дягилев прекрасно понимал, чего стоит такой поход) оказали на него реанимационное воздействие.

— Ну тогда, что ли, вот... — Дон Педро поставил на столик пакет с продуктами. Он был голоден, вся жареная колбаса с макаронами, которыми заправил его на дорожку Маня Иванович, растворилась в организме, пехом преодолевшем немаленькое расстояние.

Пока Дон Педро майстрил ужин — доставал банки с готовой перловой кашей и тушенкой, разогревал, толстыми пластами отчекривал сливочную колбасу, хлебушек, заваривал чай, — Дягилев сходил на перекур (в землянке они, строго, не курили). На свежем

воздухе голова прояснилась, хотя сердчишко тревожно екало. Ситуация показалась ему не такой уж трагичной. Во всяком случае, если жизнь его под угрозой, в чем Дягилев не сомневался, то нужно было действовать в целях самосохранения. Человеческая жизнь важнее — кто с этим может поспорить?

Нольберг приехал домой поздно. Долго сидел в машине. Ему не хотелось выяснять отношения с женой. Ярость почти прошла, и осталась какая-то тусклая боль, смешанная с неприязнью — к Агате, к сопернику, к себе. Он не мог понять, как стал заложником этого идиотизма.

Вдобавок — и, пожалуй, более всего — он опасался, что кретин-архитектор вздумает оспаривать решение комиссии, чтобы вернуть своей развалюхе охранный статус. Эксперт сразу предупредил, что решение очень спорное, — хотя деньги за работу получил и документ подписал. И, кажется, никто вообще ничем не рискует. Только он сам — потому, что если дойдет до отца, то этот дракон точно не пожалеет собственного сына.

С другой стороны, у Нольберга вызывало мрачную радость предчувствие того, что дело не закончено, что соперник будет сопротивляться. Для этого недоумка, любителя хлама, ситуация все равно безвыходная, процесс запущен. Все случится — не так, так эдак.

Мстителю достал сигареты и закурил в машине, чего никогда не делал, опасаясь, что табаком пропитается кожаный салон. Но сегодня особый случай. Он вдруг поймал себя на осторожной мысли, что ему давно необходим был какой-нибудь поединок. Такой, из которого он мог бы выйти победителем. Он вдруг почувствовал в себе давнишнюю, копившуюся злость, тонны злости. Он был готов сыграть в эту игру со злым азартом. И вскоре, раззадорив себя такими мыслями, вылез из машины и направился домой. Завтра надо будет навестить Элеонору. И, может быть, поговорить с отцом, только хорошо подумать и найти правильные, лукавые слова.

Когда Марат, Маня Иванович и Дон Педро снесли стену, открылось большое светлое пространство, покореженное, конечно, прежними переделками, но, во всяком случае, стали видны благородные пропорции и задумка архитектора. На сломе, когда убрали мусор, обнаружился кусочек стены со старинным покрытием — шелковыми обоями. Марат отклеил сохранившийся лоскут и унес к себе. Он был молчалив во время работы, и Маня Иванович к нему не лез с разговорами, хотя деловых вопросов у него было навалом.

Вечером, когда стемнело, Марат развернул один за другим все чертежи, которые ему удалось раздобыть за это время. Что значат все эти бумаги, чья таинственная желтизна сообщает человеку странное желание оглянуться назад? Как, с помощью какого свойства, предметы и вещи способны сохранять иррациональное? Как доказать присутствие в них энергии, которая ответственна за связь ныне живущих с душами исчезнувших? Он взял лоскут, снятый со стены,

изумрудно-зеленый, гладкий. Интересно, купец Каплин привез эту ткань из Европы или же из Китая, откуда возил мануфактурные редкости и чай?

Марат поднялся наверх. Второй этаж, освобожденный от мусора практически полностью, был готов вернуться в свой прежний вид, стать таким, каким его задумывали архитектор, проектировавший некогда дом, и, наверное, сам Каплин. Предстояло снести еще несколько никчемных стен, освободить этаж от старой штукатурки, гнилых обоев, наклепанных в миллион слоев на благородное деревянное тело. Лишить его всего наносного — и вернуть к началу.

Марат стоял в темноте и смотрел прямо перед собой в большое окно, где созрела и готова была упасть на зимний тротуар большая желтая луна. На улице разгоралась непогода, и четкость вида размывали порывы ветра, несущие снег. Мысли, которые одолевали, не касались угроз Нольберга, не касались и Агаты. Сейчас он думал лишь о том, как видел архитектор прежнего времени все это пространство, как он мыслил работу объемов, распределение световой массы. Какие цвета и какая мебель предполагались здесь, и можно ли будет все это найти для обновленного дома. Конечно, до этого еще далеко, но следует четко представлять себе окончательный результат.

Сновал и сновал снег. В его неплотной разреженной туманности померещилась снизу, возле дома, какая-то фигура. Марат пригляделся, надеясь, что это вернулась Агата. У него забилося сердце от того, что им предстоит разговор. И он был не готов к нему. Но разве к таким разговорам вообще можно подготовиться? Можно строить дом, понимая, каким он будет, можно распланировать что угодно, — но только не это, непредсказуемое. Не то, что касается странных порывов сердца, безрассудных движений души или желаний, кажущихся плодом беспричинной случайности. Невозможно даже закончить этот чертеж, если чертежом можно представить себе любовь, — он закончится, только когда закончится. Можно попробовать связать чувства рациональностью, здравым решением — в общем, заглянуть вперед и попытаться приструнить. Но единственное здоровое решение, которое в таком случае есть у человека, — присвоить желание другого, чтобы быть вместе.

Фигура тем временем растворилась в темноте. Хорошо, что это не она. Пока он не знает, какой проект ей предложить.

Прошла неделя. Маячили праздники. Звонила Елена. Она, казалось, не на шутку переживает. Во всяком случае, в ее голосе Марат слышал нотки тревоги, а предложения о помощи звучали вполне мирно.

— Давай я свяжусь с Танькой. Она тебя любит, — говорила Елена, имея в виду их общую знакомую, которая занимала видный пост в одной всесильной структуре и которой Марат проектировал дом.

Он не возражал.

Да и сам уже побеспокоился, сходил куда надо, подключил своего эксперта, собрал кучу бумажек и созвонился с однокурсником, который

командовал охраной памятников. Сразу после длинных выходных однокурсник, который был, кажется, рад его слышать, пригласил его выпить и обсудить проблему. Все решалось за пределами кабинетов.

— Старик, мне кажется, где-то что-то напутали. Кто-то пошутил, — сказал ему приятель, а после этого, вздыхая, рассказал, как теща заставляет его работать на даче и вот здесь точно ничего не поделаешь.

Но дело не касалось расчета, рационального подхода, и Марат тревожился не меньше, а даже больше. Все безличное или касающееся денег могло быть решено разумно. Но здесь речь шла о чувствах.

Ему опять снились длинные сны.

Глава 20. Под пятой свободы

Едва Элеонора ворвалась в квартиру Лени, домашнее хозяйство в квартире Абрикосовых пошатнулось: Элеонора свернула вешалку в прихожей и та завалилась с грохотом на обувной шкаф. Шкафчик выпустил свое небогатое содержимое — матушкины ботинки и сапоги, Ленины кроссовки и потертые унты. Элеонора брезгливо отодвинула унт ножкой в пушистом тапочке и проникла в кухню.

Там она, кудахча на своем языке, заправила кофеварку и уселась за стол. Леня стоял в проеме и любовался красотой, не понимая ни слова в захлебывающейся речи подруги.

Когда кофеварка просигналила, Элеонора замолчала. Словно ей был дан сигнал заткнуться, подумал Леня.

— Что-то случилось? — мягко спросил влюбленный.

— Я тебе только что все рассказала! — Элеонора вздернула брови. Она подумала, что Леня все-таки такой дурачок, что просто удивительно, как он работает в университете. Но снизошла и рассказала все заново.

Суть дела сводилась к тому, что ее мужчина (тут Леня обычно скрипел зубами или вздыхал) никак не может разобраться со своей уродливой женой (про себя Леня отметил, что она ничуть не уродливая, а весьма даже симпатичная) и пребывает вне себя, хотя виду и не показывает. Она слышала, как он разговаривает с кем-то, и она услышала тако-о-ое! Она услышала, что дом идиота архитектора должен исчезнуть с карты земли.

— С карты земли? — не понял Леня.

Да, именно. С карты планеты Земля.

Элеонора полагала, что ситуация складывалась в ее пользу. Возмездие настигало Агату, которая должна была освободить Нольберга раньше. Поэтому все, что происходит — это просто карма.

— Карма же? Да? — промолвила Элеонора и шумно всосала кофе.

Леня глубоко вздохнул. Ну что ей ответить? Глупость Элеоноры с некоторых пор перестала его умилять и уже даже немного раздражала. Иногда он чувствовал себя в ловушке — робким паучком, втянутым в строительство сетей, расставленных другими, большими и жирными, пауками. Ему становилось душно. Вот и сейчас духота на него навалилась серым ватным комом. Хотелось разрешить конфликт внутри себя. Но как?

Он стал выспрашивать подробности. Элеонора обычно с радостью делилась. Но, как и многие женщины, она чуяла тот предел, до которого можно было довести свою игру на чужих нервах и чувствах — и не проиграть. Теперь она чувствовала опасность. Поэтому сказала, что ничего не знает, кроме того, что ее парень готов все расставить по своим местам.

Леня не поверил. В нем загудела тревога, как гудит, бывает, огонь. На минуточку в голову ему пришло недавнее прошлое: разговор, который был им подслушан на улице и забыт, ради Элеоноры. Но неужели все в мире должно делаться ради Элеоноры? Конечно, нет, отвечал сам себе Леня. Ну и что же он тогда должен сделать?

У него был номер Агаты. Он мог позвонить. Ну позвонит он — и что скажет? Что ему стали известны коварные планы по уничтожению имущества? Глупости какие. С таким даже в полицию не пойдешь. Примут за параноика, как матушку время от времени (она пописывала кляузы на соседку). С другой стороны, хорошо бы позвонить, на всякий случай. Мало ли что. Но как-то страшно неудобно. Он уже сыграл в жизни этой женщины не самую благородную роль. Стремно как-то, по-простому говоря.

Но вдруг у него появился план. Не ахти какой, но все же он бы избавил его от моральных страданий.

— Сменим, может, тему? Я вообще даже не понимаю, о чем, о каком доме ты говоришь, в глаза его не видел. Или видел? Хочешь есть? Матушка сварила борщ. Сметаны? — Леня полез в холодильник, не теряя из виду Элеонору. Он знал ее слабости — поболтать и борщ его мамы.

— Ну как не видел? Ну видел, конечно! Он же недалеко от твоего универа! Я тут разоряюсь, а он даже не соображает, о чем я ему говорю! — Элеонора почувствовала себя оскорбленной и полезла в телефон — погуглить и предъявить Лене точку на карте.

Леня с едва скрываемым удовлетворением повторил вопрос:

— Борщ-то будешь?

Его план был прост: заявиться к хозяину и предупредить. Или хотя бы подбросить записку. Да, записку даже лучше. Он чувствовал некую вину, он был втянут в такую ситуацию, которая ему, мало разбиравшемуся в человеческой психологии, показалась совершенно безнадежной.

С тех самых пор на Леню регулярно нападала тревога, от которой он не мог спать. К вечеру его размотало с такой силой, что он размышлял, а не свести ли ему счеты с окружающим миром. И остановился на том, что выместил зlobу на матушке, которая по своей дурацкой привычке заглянула к нему в комнату без стука.

— И — да! Я поставлю замок! — кричал Леня родительнице, которая испуганно ретировалась.

Леня был растерян. К утру он вспотел. Спал какими-то урывками. Видел во сне грандиозные катастрофы: то с балкона на него падала новогодняя елка, то одна его собственная нога покидала хозяина, скакала от него вдаль, а он ощупывал аккуратную культю, не понимая

происходящего. Наконец, когда среди взрывов и разрушающихся небоскребов, в яму, где он сидел вместе с другими людьми, заглянули вооруженные до зубов инопланетяне, Леня очнулся. Сел на кровати, стянул мокрую от пота футболку, побрел в ванную.

Душ отрезвил его немного.

— Ленечка! Выходи! Готов завтрак! Тебе в университет! Вечером придет Марина Николаевна! С дочерью! Навестить меня! Я рассчитываю! Что ты будешь дома! Поддержишь! Наш маленький! Праздник! — отрывисто кричала матушка из кухни.

Настроение Лени испортилось. Все это было словно продолжением дурного сна. Она бесконечно сватала его, выставляла напоказ. Она, в общем-то, гордилась им, таким умным. Да, наверное, и не уродом, наверное, красивым. Матушка, во всяком случае, так считала. Может, она даже и не совсем неправа. Может, он и впрямь ничего себе.

В этот момент Леня чистил зубы. Борода привычно лезла в рот. Но он уже и не замечал этого, смирился с необходимостью такого неудобства. Ведь философская борода позволяла ему лучше думать, например если ее сосредоточенно поглаживать. И она сигнализировала другим о том, что он свободен от влияния посторонних мнений. И вообще, сильно отличала его от других. По бороде его могли опознать товарищи по пристрастиям, свободолюбивые мыслители. Такие всегда выглядят немного странно. Многие из них ну натуральные фрики с виду. Даже пугающие в чем-то. Бывают совершенно улетевшие особи. От таких хочется дистанцироваться. От таких не ждешь чего-то умного, сразу хочется выставить за дверь. А некоторые, честно-то говоря, фрики не только снаружи, но и внутри. И он таких знает. На кафедре у них есть один такой, красит волосы почти в морковный цвет. Мужик, а красится как баба. От такого ничего хорошего не ждешь. Вот бы показать его Элеоноре, она бы оценила, улыбнулся Леня, глядя на себя в зеркало. Зеркало показывало всклоченную рожу с ошметками пасты в густой растительности, с безумным взором. Да, бывает же такое! Леня приготовился прополоскать рот. Но вдруг в животе у него заныло. По организму пробежала волна потливости, и через минуту он стоял весь взмокший, с одной только тревожной мыслью в голове: Элеонора если и видела его без бороды, то лет сто назад. Может, в ее глазах он смешон, с этими волосами, развевающимися при ходьбе? Да и сам себя он, пожалуй, давно не видел с голым, как есть, лицом. И, возможно (а даже и весьма вероятно!), что и он сам не представляет уже своих черт как они есть, без защиты. Да и кто он такой вообще, внутри и снаружи? Имеет ли он элементарное право существовать?..

Когда Леня вынимал из шкафчика парикмахерские ножницы, которыми матушка стригла на дому подружек, у него дрожали руки. Когда он отхватил ножницами кусок бороды, у него ослабли колени. Но он стриг и стриг, обливаясь потом. Зрачки расширились, кожа побледнела. Он опустился на край ванны, закончив манипуляции. Приступ паники отступил, захотелось спать. Заснуть и забыть обо всем, что вообще происходит вокруг. О мамаше и ее бесконечных подружках со взрослыми

дочерьми, об Элеоноре, которая держит его как шавку на поводке, заставляя нарушать моральный кодекс. Да кто, собственно, его заставляет?.. Шерше ля фам — рассердился Леня. И если на мгновение он пожалел о содеянном, то теперь решил довести дело до конца: пены для бритья у него не было, он намылил лицо матушкиным шампунем и педантично убрал все, что, возможно, мешало жить.

Зеркало показало ему человека.

— Не пугайся, — сказал Леня, входя в кухню.

Мать охнула и спросила:

— Ты женишься? На Элеоноре?

Леня молча позавтракал. Он раздумывал теперь, пойти ему к хозяину дома сегодня, после занятий, или завтра. Наверное, лучше завтра. Хоть привыкнуть без бороды. А то вроде как какой-то совершенно посторонний человек идет предупреждать того, кого следует предупредить Лене Абрикосову. А сегодня он просто пройдет мимо дома, посмотрит на него, мысли улягутся, и он примет единственно верное решение.

На улице на него напал ветер и оттрепал за щеки, отвыкшие от беззащитности, подергал за подбородок. Эти ощущения вернули Леню в какие-то детские времена, то ли счастливые, то ли не очень. Пока он ехал на автобусе, он старался определить, было ему тогда хорошо или нет. Случалось много чего хорошего, конечно. Из тех времен Леня хорошо помнил отца, веселого такого. Это потом они ездили к нему в хоспис, в отдаленный район, где бараки перемежались с темными кирпичными пятиэтажками. И в одной такой, смертельного коричневого цвета, тот лежал сильно похудевший. Однажды они застали там постороннюю женщину, которая перекладывала что-то в отцовской тумбочке. Мать аж вздрогнула — Леня и по сей день помнил, как дернулась ее рука, за которую ему, уже пятнадцатилетнему, в этом скорбном месте хотелось схватиться. Женщина тогда поцеловала лежащего отца и тихо вышла, кивнув Лене. Мать стояла, задрав подбородок и зло скривив губы. Не знаю, зачем мы вообще сюда пришли, говорило все ее существо. Но отец обрадовался их приходу. Наверное, знал, что больше не увидит — умер он на той же неделе. Мать близко к постели не подходила, все выказывала обиду. Развелись они к этому времени уже лет пять как, но характер у нее вне зависимости от ситуации был жуткий, требовательный. Отцу нечего было противопоставить этой женщине, на которой он, мягкий человек, женился будто бы сгоряча, по ошибке. Всякий скандал у них заканчивался тем, что он молча поднимался на чердак и там занимался починкой всего, что было неисправного в доме или у соседей, или того, что сам приволок откуда-то. Он работал на ремонтном заводе, где приводили в порядок самолеты. Леня, когда подрос, научился осаживать мать. Отца (который так этому и не научился) не осуждал, даже когда тот не выдержал и ушел. Но только один вопрос мучил его: неужели тот не мог остаться ради него?

Неужели не мог? — задавался он вопросом, подходя к Каплину дому. Да, этот дом ему хорошо известен, Леня частенько ходит мимо. Новое крыльцо. И что-то еще изменилось неуловимо. Красивый, в общем-то, домик. Модерн, что ли.

Никогда ему, Леониду Абрикосову, не пришло бы в голову, что судьба так или иначе будет связана с чем-то таким. Он рассчитывал, что распрощался с той неблагоустроенной жизнью навсегда. Так же, как и с вопросом, адресованным некогда отцу. Но в мире все взаимосвязано. Это, конечно, всем известный факт, но на жизненном опыте, который получает человек, эти взаимосвязи производят двойную работу — дают свободу и лишают ее. Вот сейчас он, Леня, волен принять свое решение, например, постучать в эту дверь. Но, с другой стороны, любое его решение будет иметь свои последствия, которые, конечно же, являются ограничением этой самой свободы. Что бы он ни сделал, все будет иметь последствия. О какой свободе вообще может идти речь? Чем больше свободы, тем больше неопределенности. Да, Гегель был не дурак, когда схитрил насчет преобразования необходимости в свободу. Конечно, с ним многие не согласились, по причинам низменным, абсолютно понятным: это же лишает человека самых сладких его иллюзий насчет того, что он царь природы и вообще может делать все что угодно. Сейчас никто не хочет выбирать. Точнее, все хотят легкого или, во всяком случае, неопасного выбора. Если не надо выбирать, то ты вроде как и ответственности не несешь, вообще можно расслабиться и получать от жизни удовольствие. Элеонора точно живет по этому принципу, вздохнул Леня. И, конечно, не подозревает — ей даже в голову не может прийти, — что в итоге может случиться война «свобод» и тогда пиши пропало. Человечеству сейчас самоубиться раз плюнуть — и все из-за свободы, больше не из-за чего...

Привычно перекатывая привычные мысли, — но это уже почти не успокаивало, — Леня миновал Каплин дом и дошел до работы. Там отсидел свое, заполнил бумаги на какую-то мимолетную конференцию, принял зачет у пары отстающих студентов, прочитал лекцию и выпил чаю с печеньем. На исходе рабочего дня подумал о том, что неплохо было бы вернуться к диссертации, и даже полез в компьютер, где хранил наброски и материалы. Зачем только? — привычная мысль привычно остановила его. Леня пустился было в рассуждение о привычках, которым и он подвержен, и всякий, и особенно — его мамаша, которая сохраняет все, самые дурацкие. Впрочем, ей простительно, она, в принципе, уже старушенция, и притом достаточно вредная. Леня поморщился, предвкушая ужас вечера, кошмар пустых разговоров с мамашинной подругой и ее дочерью, которая будет смотреть на него сначала исподтишка, а затем, когда захмелеет, — открыто. Сегодня какая-то телка будет бесцеремонно пялиться на его голое, ничем не защищенное лицо. Он не понимал, как в отсутствие растительности скрывать свои чувства, как не выдать, например, презрения.

Нет, нет и нет!

Предопределение ближайшего грядущего вызывало тревогу, сидевшую, как Вий, в глубинах слабого человеческого существа. Леня совершенно не мог сопротивляться. Нужно, наконец, пойти предупредить хозяина Каплина дома. Но, может, не сегодня, может, завтра. Сегодня день пролетел слишком быстро, и его ждет к тому же неприятный вечер. Или сегодня? (Сегодня, сегодня! — бумкало в районе солнечного сплетения.) Леня обмундировался для выхода на улицу. На выходе из корпуса бросил взгляд в кривое древнее зеркало, украшавшее с незапамятных времен колонну в широком холле. Почему его не заменят на ясное? — подумалось вдруг Лене.

Город был уже темен на небольших свои улочках, но темен не страшно, а тихо, по-домашнему. Это была ласкающая, а не черная темнота. Ее смягчал мягкий свет наполовину утонувших в культурном слое длинных окон. Высоченные фонари лили магнетический холодный свет, добавляя загадочности синей темноте. И Лене казалось, что он сейчас завернет в свой дом за молочной флягой, установит ее на тележку, с грохотом выкатит и поедет за водой. Колонка фыркнет пару раз, прежде чем выпустить широкую струю, которая непременно окатит его ноги. На мгновение покажется, что он на берегу морском, в грозовую ночь, как Пушкин на картине Айвазовского, придерживается за каменюку, чтобы стихия не смыла его к едрене фене. Лене нравилось в детстве думать о чем-то таком. Обычно он устанавливал флягу в сенях, затем в своей комнате в намокшей одежде долго стоял, прислонившись в чугунной батарее водяного отопления, выключив свет и вглядываясь в темноту. Его медленно обволакивало тепло, мягкая влага от парившей одежды.

Так, за волнующими воспоминаниями, он миновал пару улиц. Миновал и Каплин дом. А миновав, принял решение сегодня не возвращаться, хотя видел издалека, что в угловых окнах горел свет. Все — завтра. Трус, трус! — корил он себя, но сразу с этим смирился.

Глубоким вечером, отбыв свою жениховскую повинность и в очередной раз поругавшись с мамашей, которая с досадой вдруг заявила, что не ожидала, что у него такое худое и неровное лицо, Леня ушел к себе. Деваха, которую ему представили, как-то похабно улыбалась весь вечер, Леню это злило, возвращало к плотоядным мыслям об Элеоноре. И чего она к нему привязалась?..

Вся неделя пролетела вот так: Леня привыкал к своему лицу, избегал Элеоноры, не понимая, как та воспримет его новый облик. В Каплин дом он так и не зашел. По неопределенной причине. Сначала лучше встретиться с Элеонорой, а потом уже. Почему? По неизвестной причине.

Элеонора же была в отъезде.

Глава 21. Надежды и сожаления

Несколько дней Агата мучилась. Дни не считались ею, потому что все было одинаково неприятно. И даже не потому, что Нольберг наконец как следует наорал на нее.

Она мучилась оттого, что, наорав, Нольберг, совершенно перестав обращать на нее внимание, собрал чемодан и уехал — уехал в Таиланд, и, конечно, не один. Наорав, он не захотел выслушивать ее просьбы, ее вопли о том, что дом здесь совершенно ни при чем, что вообще это гадко, ее признания, что виновата во всем она одна. Муж сказал ей только одно слово, ехидное: «Конечно». И уехал. Это — она мучилась — лишило ее возможности принять участие в судьбе дорогого ей человека.

С другой стороны, она страдала оттого, что не решалась даже позвонить Марату. Он, возможно, и не упрекнет ее. Но от этого не легче — и она рыдала так, что кожаные диванные подушки затвердели от соли.

Дети были отправлены к старшим родственникам, которых, конечно, уже оповестили, — и теперь благополучная толпа родни с обеих сторон ее презирает. Хотя, наверное, они всегда ее презирали — за слабость характера.

Но что же делать?

В детстве у нее бывали приступы отчаянного бессилия. Когда она существовала беззаботной невеличкой, взрослые нечаянно заперли ее в шкафу, где она играла с огромной коробкой, полной пуговиц, кусочков ткани, разноцветных нитяных мотков. Упоенная пестрым многообразием, девочка утомилась и уснула, и не слышала, как повернули ключик. А когда проснулась в темноте и духоте, вспотевшая, билась в шкафу, кричала, пока перепуганные родители не отыскивали источник звука. Потом ее водили в темный дом к бабке, которая шептала на воду, — лечили от страха. Но ощущение запертости и забытости осталось. Вспомнив его сейчас, Агата чуть было не взвыла в детской тоске, но спохватилась, осекла себя. И через некоторое время была возле Каплина дома в надежде сейчас же избавиться от переживаний.

Дом был закрыт. Не было никого. Она постояла, немного замерзла. Замерзло, утишилось и ее отчаяние. Неужели и Маня Иванович уковылял куда-то? Как далеко? Когда вернется?

Она обошла дом. Соседний переулок выстрелил в нее мелкой, злющей собачонкой, которая заметалась под ногами, норовя укусить. А потом отпрыгнула и пропала, перед этим писклявым лаем вызвав снег.

Агата потопталась возле крыльца, собралась было уходить. Гигантские хлопья укладывались ей на плечи. В этом году как-то очень снежно. В такую погоду кто-то должен вернуться домой.

Она сделала еще круг и, вырливая из-за угла, обнаружила возле крыльца человека. Снег оглушал пространство, видно было плохо, кто — не разглядеть, не расслышать, но что-то знакомое, мимолетно. Она обратилась:

— Скажите, пожалуйста, вы к хозяевам?

Человек, большой и нескладный, вздрогнул и, покачиваясь, начал отплывать от крыльца спиной, а потом развернулся и быстро растаял в снежном мареве.

Агата вызвала такси, чтобы вернуться к себе.

Метель разошлась, била неистово в окна, качала створки балконных стекол. Агата уселась в коридоре, сжимая во вспотевших ладонях

телефон. Ее трясло. После получаса молчаливых мучений, она обесси-
лела и уснула.

Марат тоже не считал времени. Он сосредоточился на текущих делах. В тот снежный день, когда, казалось, облака выпадают на землю крупными хлопьями, он и Маня Иванович колесили по делам. С утра Марат улаживал вопросы в учреждениях, постучавшись даже в те двери, в которые при других обстоятельствах не стал бы заходить, одалживаться. Но сейчас речь шла о вещах, которые сводили на нет любые посторонние аргументы. Похоже, что покойная старуха заразила его, обязала своей преданностью.

К обеду стало ясно, что все действительно не так плохо. Делу вполне можно было дать обратный ход.

Потом они заехали в архив, а оттуда — на строительный рынок, где Маня надеялся отыскать какие-то причудливые запчасти для своих мебельных фантазий. Они бродили по огромному ангару, Маня с удовольствием рассматривал товары, постукивал костылем то по сосновым балясинам лестницы, которая никуда не вела, зависнув на половине высоты от пола до потолка, то по чугунному черному боку огромной ванны. Кого купать в такой? — с удовольствием удивлялся Маня. Ему нравилось ходить вот так, прицениваясь, выбирая, — как законному покупателю, человеку при деле. Нужного он не нашел, но придумал, как заменить его, — и они вышли из ангара с полной коробкой разнообразной металлической и деревянной мелочи.

Кое-как добрались до дому, простояв в пробках: снег сразу же блокировал движение на всех оживленных дорогах и перекрестках. Начинало темнеть. У дома увидели уже хорошо прикрытые снегом следы. Марат вздохнул. Маня глянул на Марата, тоже вздохнул и пошел к себе. Он намеревался звонить Дягилеву, чтобы договориться о работах.

Марата смутили следы. Они могли быть чьи угодно. Их могла оставить Агата. Он хотел увидеться с ней. Он понимал, что она страдает и, наверное, ждет его участия. Но время ли сейчас для этого? Он влез в чужую жизнь, которая шла своим чередом, связывая людей семейными узами. Он не имеет права распоряжаться на этой территории. И его чувство вдруг стало казаться ему неловким, глупым...

А вот Сашка очень даже считал деньки, мечтая побыстрее нырнуть в субботу. Ведь в субботу не надо идти на уроки.

Но в этот день, обещавший быть прекрасным, Сашка поскандалил с бабкой. Бабка, получившая от математички его контрольную, разгневалась на плохую успеваемость, заявила, что он не нужен не только такой приличной женщине, как директор школы, но и даже таким отбросам общества, как Виолетта.

— Она не отброс! — с ходу во весь голос заорал Сашка. В последние дни что-то подступало, какая-то тоска, к его маленькому сердечку. Оно то беспокойно екало, то билось так уныло, что Сашка один раз даже

подумал, что сердце может остановиться и он возьмет да и умрет. Умрет прямо на уроке. Вот бабка тогда пусть порывает!

Но мстительная мысль мимолетна — Сашка все-таки готовился к новой жизни. Он укреплялся в своем желании занять хоть одну комнатку Каплина дома вместе с Виолеттой и намеревался предложить его хозяину свои услуги. Он мог бы помогать Мане, или выносить мусор, или еще чего.

— Еще какой отброс! Собственного сына бросила! — парировала бабка. — Конечно, такой идиот никому не нужен!

Сашка не выдержал и рванул первое попавшееся — штору, деревянная перекладина с дребезжанием пустотелой палки свалилась на пол, зачирикали колечки, на которых висела тяжелая зеленая гардина.

— И что ты хочешь мне этим доказать?! Что ты не идиот? Как раз демонстрируешь обратное! — визжала Ирина Аркадьевна, теряя директорское достоинство.

Сашка схватил колечки, упавшие горкой, и запустил в бабку, а потом схватил палку и стукнул ею вазы, стоявшие наверху шкафа-стенки. Вазы свалились на бок, одна упала на пол и разлетелась голубыми стеклянными брызгами. Это немного отрезвило мальчика. Но в следующую секунду внутри него вновь вспыхнул дьявольский огонь и он зарядил палкой по стопке школьных тетрадей на столе — Ирина Аркадьевна по учительской привычке утаскивала тетради на проверку домой.

Он работал палкой, методично спихивая со стола все, до чего мог дотянуться. Когда на пол полетела бабкина кружка с чаем, Сашка ощутил невероятное удовлетворение, как будто внутри него какой-то незванный черт радуется беспорядку. Губы мальчика непроизвольно покривились. Это оказало на Ирину Аркадьевну совершенно фантастическое воздействие — она собралась, замолчала и, содрав с дивана плед, усыпанный голубыми стеклышками, уселась, сложив ногу на ногу.

— Раз ты смеешься и вообще чувствуешь себя сильно взрослым, пришла пора рассказать тебе правду, — с чувством мрачного удовлетворения произнесла она. И медленно и спокойно выложила внуку все известные ей сведения о его родной матери, а точнее то, что Виолетта живет вполне благополучно, но с другим ребенком, а Сашку даже видеть не хочет, несмотря на все настояния Ирины Аркадьевны, несмотря на ее слезные мольбы и упрашивания. Она рассказала Сашке о девочке, которую любит его мама вместо сына.

Чем дальше она рассказывала, тем крупнее собирался комок в ее горле. И в какую-то минуту она вообще потеряла дар речи. Ей показалось, что и дышать она толком не может, и что сейчас вообще задохнется и простится с жизнью. Злоба ее прошла, осталось разочарование. От чего оно созрело, это ядовитое яблоко, которым она поперхнулась? Все вокруг остановилось, замолкло. Сашка застыл в углу комнаты, выпучив светлые глазенки.

В этот момент сверхъестественной тишины ей пришло на ум одно давнее происшествие, хотя не происшествие даже, а так, полная ерунда.

Виолетта была довольно милым ребенком, хотя от детей, конечно, всего можно ожидать. И в булочной, куда они зашли за хлебом, малютка соблазнилась пирожным, без спросу взяла его с прилавка и откусила. Девочке было лет пять, вполне разумный возраст, чтобы понимать: без спросу чужое брать нельзя. Ирину Аркадьевну тогда только назначили завучем, и ей стало так стыдно пред всеми, кто находился в булочной, что она закатила дочери молчаливую оплеуху, так что пирожное выпало из ручонки на сырой осенний пол. Расплатилась и вывела дочь, которая от неожиданности даже не заплакала, только уголки рта у нее опустились. Следующие два дня Ирина Аркадьевна принципиально с ней не разговаривала, чтобы искоренить в зародыше эту детскую всеобщую порочность, которую многие, как она полагала, путают с наивностью и непосредственностью. Это настоящая хитрость, даже, можно сказать, коварство — ведь ребенок, конечно, догадывается о том, что родитель вынужден будет заплатить за пирожное, которое он не собирался покупать... Возможно, именно тогда все началось, жизнь Виолетты пошла под откос, и жизнь ее будущего ребенка была обречена. И даже непреклонность Ирины Аркадьевны, которая весь день игнорировала слезы дочери и не вступала с ней в контакт, не спасли положения. Девочка покатила по наклонной.

На мгновение внутри Ирины Аркадьевны зарделась стыдная мысль: а может быть, она тогда допустила педагогическую ошибку? Может, стоило провести с дочерью строгую беседу? Или вообще наказать физически? Или (какая педагогическая крамола!) просто заплатить за пирожное и позволить девочке спокойно его доесть?..

Сашка наконец отмер и шарахнул палкой, которую не выпускал из рук, по дивану, на котором сидела бабка. Диван испустил пыльный вздох. Бабка испустила острый звук возмущения и вскочила. Сашка отбросил палку и рванул из комнаты. В прихожей он схватил унты, куртку, шапку и вылетел в подъезд. Побежал, впрочем, не вниз, а вверх. Там притаился и, пока бабка бегала вниз ловить его на выходе, быстренько и тихохонько оделся, дождался, когда хлопнет дверь их квартиры, и вызвал лифт. Спускаясь в лифте, отдышался, мысли пришли в порядок. Сашке стало очевидно: бабка все врет.

Нужно было срочно искать Виолетту. Видимо, бабка все-таки украла его и скрывает от матери. А мама не знает и горюет! Может, бабка ей сказала, что он вообще умер! От этой мысли Сашка аж вспотел. Ведь если она думает, что он умер, то не ищет его! Раз так, ему придется самому приложить все усилия и найти ее. Нужно будет залезть в бабкины документы: может быть, она что-то прячет от него. Надо еще добежать до Каплина дома, признаться в своих надеждах и, если не прогонят, застолбить место. Может, дядьки ему помогут в поисках? На взрослых хотя бы внимание обращают.

Сашка зигзагами, чтобы не попасть под бабкино хищное око, пропустил через дворы, на полном ходу достиг школы. Еще не начинало смеркаться, но школа глуховато светилась внутри, выбрасывая излишки света через окна вестибюля. Старая, большая, выкрашенная в розовый

цвет, с высоким крыльцом и фальшивыми колоннами, обычно она казалась мальчику самым пустым, самым глупым местом на свете. Огромным несчастным розовым слонем, который брел по снежной пустыне, сам не зная куда. Днем внутри слона сопела и скучала за партами скованная урочной дисциплиной ребятня. А ночью по коридорам гулеванили какие-нибудь привидения. Сашка несколько раз задерживался с бабкой до того времени, пока школа не пустела совершенно. И тогда, сидя в одиночестве в пустой учительской, куда его ссылала Ирина Аркадьевна, он весь превращался в слух — здание бормотало, поскрипывало, иногда слышались голоса. Он пытался разобрать таинственную речь, но ничего не выходило, все было смазано. Поначалу он боялся звуков, но затем привык и даже получал удовольствие, пытаясь опознать шумы, то удаляющиеся, то приближающиеся...

Стояло такое время, когда на улице еще вполне светло, а в помещении и квартиры уже закрадывается лукавая темнотишка, мешающая читать, вязать, решать кроссворд. Уже зажгла лампу ночная охранница в комнатке, примыкающей к вестибюлю, у самого выхода. Туда Сашка, поддавшись внезапному любопытству, заглянул через окно прямо с крыльца. Дежурила самая добрая тетя из всех сменщиц. Она, поддавшись темнотишке, клевала носом то ли над книгой, то ли над чашкой.

Мальчик собрался было напугать ее, постучать в окно и убежать, но тут заметил краем глаза шевеление возле ближайшей лавочки. Спрыгнул с крыльца, присел и стал из-за уголочка наблюдать за происходящим.

Человек посидел на лавочке, затем встал, положил в урну черный пакет, осмотрелся и пошел прочь. В пакете что-то было, а человек вел себя как-то не так — поэтому Сашка, вспыхнув интересом, дождался, пока тот уйдет, и подскочил к урне. В пакете обнаружил тряпочные с резиновыми пальцами перчатки и бутылки, от которых сильно пахло горючкой. Еще там были огромные спички — мальчик никогда таких не видал и хотел стащить диковину. Но заскрипел снег, плюмкнула легкая калитка школьного забора. Сашка беззвучно опустил пакет обратно, не успев совершить похищения. Он отошел к турникам, которые торчали в паре метров, и повис на самом низеньком. Прятаться не стал — бабка бы все равно так быстро не пришла. Человек подошел к лавочке, разговаривая по телефону. Голос знакомый, отметил Сашка. А, да это же дядька Дягилев, самый веселый мужик из Каплина дома!

— Привет, дядь! — выкрикнул Сашка.

Человек вздрогнул, выхватил из мусорки пакет и чуть ли не побежал прочь. Мальчику это показалось сначала обидным, потом — подозрительным. Он намеревался догнать дядьку, заставить его поздороваться и спросить про пакет. Ведь не просто так одни люди кладут в мусорку вещи, а другие — достают.

Он припустил за Дягилевым — но сразу уткнулся во что-то мягкое и темное, узнаваемо пахнущее. А это уже было тяжелое туловище Ирины Аркадьевны. Она пошла на Сашкины поиски, куда глаза глядят, по своему привычному направлению — к школе.

Когда Сашка уткнулся в этот знакомый запах агрессивных бабуш-ных духов, он кувыркнулся и сделал попытку увильнуть в сторону. Ему удалось вырваться, и он припустил скачками, как заяц от лисы, через сквер в сторону Каплина дома, время от времени оборачиваясь. Бабушка отставала, но все еще не терялась, широко, почти бегом, семимильными шагами преследовала внука. Был бы у Сашки гребешок, он бы бросил его, чтобы вырос частоколом лес и не пропустил бабушку. Или был бы у него свой собственный серый волк, который съел бы бабушку, а его унес к матери Виолетте по его хотенью...

Так он почти добежал до Каплина дома, но решил запетлять, чтобы не выдать бабушке свою цель. Он спрятался в переулочке. Но Ирина Аркадьевна была мастерица разгадывать детские хитрости. Она сразу сообразила, куда бежит Сашка, ведь однажды она пришла сюда за ним по его следам. И, пока Сашка сидел в переулочке, рванула к Каплину, перебежала дорогу, нарушив все дорожные правила, и принялась колотиться в дверь. Ей никто не открыл. Она стучала в темные окна, надеясь на ответ. Обошла дом сзади в надежде найти Сашкин схрон или заднюю дверь. Дверь она нашла, но та была надежно заперта. Тогда она потоптала на крыльчке, еще поскреблась, а потом достала телефон, решив позвонить-таки в полицию. Там ей ответили, чтобы она не паниковала и что сейчас почти день и мальчишка вполне еще может вернуться домой, нагулявшись. Они же так и делают обычно, вы же должны понимать, ответил ей на том конце ленивый голос дежурного. Ирина Аркадьевна вынуждена была согласиться и побрела обратно.

Сашка, дождавшись ее ухода, вышмыгнул из переулка и скакнул к домику. Но сколько бы он ни ломился, ему никто не открыл. Брешь с обратной стороны, откуда он в первый раз проник в Каплин дом, была надежно заделана. Мальчик опечалился и решил дождаться хозяев на крыльце. Должны же они хоть к вечеру, но прийти.

Потом, устав ждать и немного замерзнув, он побродил по улицам, дошел до набережной, где утки прибились к береговому ледку, как потерянные шапки, целая компания шапок. Он бросил в уток куском спрессованного снега, несколько птиц подорвались сразу, взяли разгон на свободной воде и полетели, остальные подтянулись за ними. Потом он побрел к острову, на который вел мост. Побродил по острову среди ледовых дорожек, по которым носились румяные конькобежцы, дошел до веревочного парка. Толстые веревки болтались на ветру, идущему от реки, бились друг о друга. Колесо обозрения, новенькое, моргало разноцветными глазками, заманивая детей и взрослых. Сашка дошел и до него. Были бы деньги, он бы прокатился. Но денег не было. Поэтому просто любовался кабинками, в которых чернели силуэты катающихся. А когда окончательно смерклось, пошел обратно, оборачиваясь на колесо, переливающееся разными замечательными цветами по всей своей окружности.

Ничто не могло отвлечь Сашку от его замысла. Но окна в Каплином доме все еще не горели. Мальчик заплакал и тихо побрел в сторону школы. Его взяло за грудки отчаяние, оно выбивало слезы из его вообще-то

не слезливых глаз. Впрочем, как только он увидел светлый силуэт школы, у него созрело решение, которое сразу преобразило унылого розового слона в надежного товарища: дежурная тетенька, самая добрая из всех, конечно пустит его погреться. Он же внук директора. Скажет, что замерз. Наврет чего-нибудь.

Сашка не рассчитал только одного: что Ирина Аркадьевна, в общем-то, видела детей насквозь — и дожидалась его в школе. Сторожиха впустила мальчишку и тут — раз! — заперла дверь. А потом — раз! — и подскочила бабка. И все, бежать некуда. Смысла бегать по школе от бабки и охранницы он не видел, бегать можно бесконечно — поэтому сдался в плен и побрел в директорский кабинет вслед за Ириной Аркадьевной. Один раз обернулся и миролюбиво, мол, не в обиде, помахал охраннице, которая наблюдала за маленьким конвоем.

Когда они брели домой, бабка отчитывала его и пообещала на весь воскресный день запереть дома. «Так и будет», — грустно думал Сашка, пытаясь выдумать план побега.

Глава 22. Сон наяву

В субботний день Леня Абрикосов спал до полудня. Элеонора еще не вернулась. Это означало, что за Каплин дом он пока мог не волноваться — ее хахаль ведь тоже уехал.

Леня ходил до Каплина дома, но получилось, что больше для очистки совести. На крыльце встретил сидящую фигуру, в которой, несмотря на пышный снегопад, узнал дамочку из торгового центра. Не зная, что делать, как объясняться, чувствуя себя полным дураком, Леня припустил прочь и скрылся в снеговых тучах. Только бы не узнала — стучало в голове всю дорогу.

Пока он ехал на троллейбусе, загипнотизированный его вздрагиванием в снеговой безмятежности, все рассказы Элеоноры сложились для него в чужую историю, в некую чистую и, возможно, трагическую правду. Он глядел на старый город, подновленный огнями, и думал о том, что, наверное, случалось здесь немало трагедий, и смертей, и горя. Что судьба каждого человека содержит в себе такой пуд соли, что засолить ею можно цистерну рыбы. И ходят люди, оставляют свои следы, прикасаются к действительности, идут у нее на поводу, а если не идут, погибают... Но что он, впрочем, понимает в трагедиях? В его личной жизни не было сколько-нибудь существенных трагедий. Так с какого перепугу он вдруг взялся участвовать в судьбах других? Может, стоит поступить премудро, согласиться с тем, что есть обстоятельства, которые он лично не в силах изменить? Нет ничего мучительней неопределенности, ведь она свидетельствует лишь о том, что однажды придется сделать следующий шаг...

После обеда, зарядившись маменькиным борщом, кисло-сладким, ярким, Леня решил куда-нибудь сходить, отдохнуть от душных мыслей.

Он набрал парочку телефонных номеров. Но никто из абонентов не согласился разделить с ним досуг, никто не звал в гости.

Тогда Леня решил заняться диссертацией, рассматривал файлы на компьютерном экране, листал книги. Мать приоткрывала дверь в его берлогу и уважительно закрывала. Она была удовлетворена — сын занят карьерой.

Но работа не шла. А нужна ли кому-то еще одна докторская, которая утонет среди миллионов таких же? Ведь все они, в конце концов, это лишь гора информации, почерпнутая из других книг — никаких радикальных и самостоятельных идей у него лично нет. Он даже не понимает, как ему лично поступить прямо сейчас. Он даже в элементарном сомневается, что уж говорить о большой науке... Может быть, следует кардинально пересмотреть подход к теме?

Он стал думать о своих кумирах, о тех, кто мог бы стать родоначальником нового мира, построенного на высоких принципах истинной свободы. Лениным кумиром был Перри Фридмен, либертарианец, выразитель идеальных взглядов о жизни на океанских платформах. Леня восхищался простейшими аргументами либертарианцев о том, что человек до сих пор живет по инстинктам доисторической древности, но обязан принести эти инстинкты в жертву свободе — немедленному действию, которое создаст целую систему маленьких стран, правительства которых смогут конкурировать друг с другом и с правительствами крупных держав, привлекая людей, желающих свободы. Леня прочел «Манифест криптоанархиста», «Механику свободы». Леня написал Фридмену письмо. Ответа не получил.

Свобода — это немедленные действия по организации государств. Свобода — это твое выразительное средство. Которое должно... Тут Леня всегда запинался. Потому что никак не мог понять, должна ли свобода кому-нибудь что-нибудь или все же нет. Или же это ей все должны. Он не мог определиться даже внутри либертарианства — за государство он или против. И вообще, если свобода — это действие, то какого черта он, человек, мнящий себя свободным, сидит здесь и не может сделать ни одного доброго и полезного дела, а только лишь придумывает отмазки и оправдания?!

Леня подскочил, забегал по квартире, налил крепкого чаю, решил, что пора действовать. Хотя бы выйти все-таки из дому и развеяться на прогулке. Все-таки человеческая жизнь — это череда путешествий, даже сон — это каждый раз путешествие с неизвестным концом...

Он решил побродить по улице, на которой вырос. Их халупу так и не снесли, она так и стояла, самая неказистая часть исторической усадьбы. И было похоже, все ждали, пока вся эта усадьба естественно догниет, саморазрушится. Иногда на него находило, и он отправлялся туда, проникал во двор и там сидел на завалинке или на пне, торчащем со стародавних времен. Когда-то пень был огромным тополем, под ним интересно было стоять во время ветра, задрав вверх голову. Ветви тополя ходили туда-сюда, пушистые зеленые руки. Леня воображал, что тополь, если увидит его, маленького человека, робеющего внутри воздуха, опустит ветви, и обнимет целиком, и поднимет к небесам, к бунтующему в вышине воздуху. Дружба

с деревом закончилась, когда отец истошно ревущей пилой отсек старому тополю руки, затем разделил и все его тело на части и вывез куда-то прочь на чихающем грузовичке. Все жители усадьбы — а это измученные бытом граждане пяти разнокалиберных домов с одним двором и одним тополем — сочли гиганта опасным, дряхлым, он стряхивал на их крыши старые ветки и вдруг бы треснул и упал весь. Отец лишь выполнил просьбу соседей. Но для Лени это была потеря, сравнимая с потерей руки или ноги. На отца он, конечно, не сердился, но ветренными ночами ему часто слышался со двора характерный бравурный шум — фантомный, как бывают фантомные боли. Шум прекратился, когда отец съехал от них. Но тогда Леня начал слышать другой фантомный шум — вот отец постукивает трубкой, выбивая остатки табака, вот он тюкает молоточком на крылечке. Этот шум все время возвращался, лишь через много лет, после того, как они с матерью навестили умирающего в хосписе, Леня перестал слышать эти постукивания.

А пень все еще стоял. Но он быстро выгнивал — и скоро, вероятно, рассыплется в труху, так же, впрочем, как и постройки, обнесенные сайдинговым забором, словно это мусорка на окраине или какая-нибудь стройплощадка. Заходить в дом Леня не захотел — воспоминаний уже и без того было достаточно. Поэтому отправился наугад вдоль тихих улиц. И шагал, пока не оказался в знакомой подворотне — с черного хода антикварной лавки Шурика.

Он толкнул дверь в темноту. И в темноте поймал какую-то вещь. И когда спустя пару секунд зажегся свет, Леня обнаружил, что держит чудное чудо — изумрудный берет с лохматым рыжим пером. Эта вещь могла принадлежать только Витольду Сосновскому, городской достопримечательности, символу некой поэтической необязательности и эпатажа. Неужели берет свалился прямо с его седой головы в руки нашего философа?

Тотчас выпал на свет и сам Витольд Сосновский, одной рукой обнимающий портфель. Другой рукой он ощупывал голову и явно был смущен. «Может, он и спит в нем?» — подумал внезапно Леня.

— Меня здесь не любят, — изрек поэт трагически, упуская от неожиданности даже восклицательный знак. И добавил веселее: — Здесь любят только тех, кто помер. Помер — значит прописался.

— Ну, может быть, — пробубнил Леня, силясь уловить логику афоризма, и вернул Сосновскому берет.

Тот отработанным движением водрузил его на голову, один край спустил до плеча, поправил перо.

— Что за птица? — кивнул Леня на перо.

— Витольд Сосновский к вашим услугам, — промолвил поэт, но, присмотревшись, вдруг понял, что перед ним человек знакомый. — А, философ! Продал бороду?

— Чье перо?

— Преподнесли поклонники. Может быть, ястреб. Гуляешь?

— Ну... — промычал Леня, почему-то заробев.

— Ну — и ну. Пойдем погуляем вместе. Здесь одни сумасшедшие. Поэзия для них — мусор цивилизации, который можно замести в угол метелочкой. Но это ведь не так? Да, философ? Вот как думаешь, философию можно куда-нибудь замести?

— Ну... — Леня подсобрался, предвкушая интеллектуальный разговор.

— Вот и я говорю! — перебил поэт с ястребиным пером. — Никуда не замести! У тебя средства есть?

Средства у Лени были. Небольшие, на дешевый коньяк. Они завернули в ближайший магазин, а потом, поскольку на улице было не холодно, побрели, по инициативе Лени, обратно к его бывшему дому.

— Вот ты думаешь, из чего состоит мир? Мир состоит не из того, что мы видим, а из того, что не видим, но можем ощущать, — кто-то умный сказал, я только повторил, — изрек поэт после первой. Он оглядывал черные бревна, и они, казалось, удовлетворяли его утонченное восприятие. — Красиво! — выбросил он руку в сторону.

— Да что уж тут красивого — тлен какой-то.

— У тебя что, вообще нет никакого соображения? У меня, например, мурашки от этого бегут — от того, как все тут умирает. Здесь поэзоконцерты хорошо устраивать, вот на этом пне. Поэт читает, пень под ним отзывается, на глазах распадается в труху — такая космическая перспектива. Потом распадаются дома — прямо во время концерта. Исчезает с корабля современности вся эта отжившая история, под воздействием поэтических волн, конечно. Может быть, все пылает: слово — это горение, страсть, напор. Очищение словом, я имею в виду. И здесь, на намоленном таким образом месте, можно строить концертный зал. Например. Или много чего еще. Что хочешь. От застарелых комплексов надо освобождаться.

Леня уже немного захмелел, идея с концертным залом ему понравилась. Поэт вдруг ринулся к Лениному бывшему дому и принялся дергать дверь. Но она была закрыта. Он рванул ставень на окошке. Ставень оторвался. Пнул по трухлявой завалинке, завалинка не отозвалась. Совершив еще пару дикарских прыжков, пиит вдруг сказал:

— Ну все, тут закончили. Пошли к художникам.

Леня послушно встал. А потом зачем-то разбежался и со всей дури врезался в дом. Он был очевидно пьян.

У художников Леня не пил. Болело лицо, которым он приложился к стене. Будет, наверное, фингал. Ну пусть будет. Бороды нет, пусть будет хоть это. Ему принесли замороженную булку хлеба, которую он приложил ко лбу. Льда у хозяев не нашлось, зато в морозилке был замороженный хлеб. Кому нужно замораживать хлеб? — думал Леня и не находил здравого ответа.

А зачем Леня врезался в стену? Ответа на этот вопрос он тоже не находил. Это был порыв, отчаянная мера против пробуждения памяти, чтобы не болели какие-то воспоминания из детства. Он не хотел умирать вместе с этой развалюхой — но отчего-то все равно умирала маленькая его часть, как тогда, с тополем. Ему надо было почувствовать

какую-то постороннюю физическую боль, чтобы совокупная боль его жизни, гнездящаяся в душе, сдалась и отступила, — в момент столкновения Леня отчетливо понял, как он страдает от несоразмерности своих желаний и дел. Он желал вечно быть маленьким Ленчиком, который смотрел на дерево. Но дерево погибло — и вслед за ним погибло многое другое, как будто это цепная реакция. А маленький Ленчик все еще жив внутри большого Леонида Абрикосова, жив одиноким, без тополя и отца. Он заблудившийся человек внутри темноты, в душе одинокого, никому не нужного, скучного и, наверное, неумного кандидата наук.

Художники тем временем обсуждали какую-то премию, рассматривали холсты, которые скромно пребывали во всех четырех углах мастерской. Усатый художник по имени Александр открыл ящик массивного буфета, притулившись к которому сидел Леня. Ящик был полон засохших кусков хлеба. «Опять хлеб!» — подумал Леня. В ящике пониже оказался склад консервов.

Гость начал оглядываться по сторонам и отметил какую-то громоздкую, как тот буфет, неприятность вокруг. Банку, полную окурков, тарелку, на которую неделями складывали использованные чайные пакетики, и набралась их уже целая гора. Ему сделалось нехорошо. Не прощаясь, он пошел к двери.

— Эй, философ! Все забываю, как тебя зовут, — произнес ему в спину Сосновский. — Хотя можешь не говорить, какой смысл. Теперь уже нет смысла.

На улице Лению встретила тьма. Он вспорол ее и шагнул внутрь. Слова Сосновского были ему неприятны. Может, поэт собрался уезжать, поэтому и ни к чему запоминать ему имена здешних людей, — он, говорят, все время то уезжает, то возвращается, об этом даже в газетах пишут. А может, просто Леня кажется ему неинтересным. Ну и ладно.

Леня зашагал. И шагал навстречу деревьям, которые выбрасывались на него из тьмы, полной равнодушных звезд. Звезды упархивали, едва Леня протягивал к ним руку. Окна прищуривались на него, с трудом узнавая, — Леня был категорически не похож на себя. Наконец он добрал до знакомого места, куда нетрезвые ноги и темное подсознание его занесли. Поднялся на крыльцо и начал молотить в дверь. Никто не отзывался, хотя одно из верхних окон цедило теплый желтый свет. Это был свет Каплина дома.

Леня был в какой-то степени возмущен этим обстоятельством пустоты. И решил попасть в дом во что бы то ни стало, хотя и не помнил, зачем вообще пришел сюда.

Он включил фонарик на телефоне и осветил пространство, пошарил под ближайшими к крыльцу ставнями, ощупал сверху дверной косяк — хозяева в частном секторе всегда прячут куда-нибудь один ключ, таково необъяснимое правило. Он шарил и шарил, приходя в неистовство. Наконец его потянуло вбок и он свалился с крыльца. А лежа, увидел под крыльцом ржавую баночку, вынул ее и оттуда достал ключ. Внутри

философа поднялась волна восторга, словно он был охотник, добывший кабана или, положим, лису. Азарт поиска, многожды усиленный выпитым, заставил его подняться, победоносно отряхнуться, — но быстро угас, потому что философа потянуло ко сну. Он с трудом всунул ключ в замочную скважину — руки уже спали, плохо слушались. Попав в тепло, Леня заробел, но, шатаясь, вбрел в одну из незакрытых комнат, уселся на стул перед окном и уснул, сложив голову на руки, а руки — на широкий подоконник.

Глава 23. Путь

Раечка была приглашена на праздник к брату Толику.

Толик купил гигантский плазменный телевизор, и Дарья решила в воскресный день закатить пирушку, обмыть покупку, имея к тому же в виду свой день рождения, который неделю назад отметить не смогла, приболела.

Дарья очень любила праздники — с детства. Любила широкие раздвижные столы, которые едва влезали в комнату, распахнутые во всю дурь. Любила синие и красные воздушные шарики, которые мама почему-то покупала на любой праздник. Обожала праздничные шпроты — суховатые, кисленькие, украшенные ломтиками лимона.

Дарья, широкая душа, любила и умела принимать гостей, готова была угождать им, готовила на славу, щедро и с затеинкой. Фаршированная щука была ее коньком, а кондитерским шедевром — медовик со сметаной. Когда они жили в своем доме и у них был двор, Дарья совершенствовалась в приготовлении шашлыков, не подпуская к мангалу никого. Теперь в ее распоряжении был электрогриль, и она намеревалась удивить гостей особой свининой в крутом маринаде.

Ребенок с утра сильно шевелился, но это не остановило Дарью. Она надела бандаж, походила по комнате, и пузо вроде успокоилось. Настька сейчас оказалась бы очень кстати, погладила бы скатерть, но девчонка убежала к подружке. Ладно, пусть развлекается.

Большая часть угощения к полудню была готова. Оставалось собрать парочку салатов, промазать коржи медовика и отправить на гриль первую порцию мяса.

Толик ускакал в магазин за хлебом и вином. И когда пришла Раечка, в квартире была только Дарья. Кроме Раечки, в гости ожидался Жека (хотя Дарья с радостью обошлась бы без него) и два автослесаря с работы. Один придет с женой — считала Дарья приборы. Ей очень нравилось все это, вся эта жизнь в новой квартире, — да и вообще просто жизнь. Простая просто жизнь, с мужем, детьми, незамысловатым хозяйством. А потом можно и на работу выйти. Она уже присмотрела одно ателье. Разложив к тарелкам ножи и вилки, Дарья зависла у окна, рассматривая пространство, прикидывая, как она будет гулять по двору с коляской.

Она решила еще раз примериться к габаритам коляски и прошла в гардеробную, переделанную под кладовую, где стояла у них уже купленная с рук модненькая серо-голубая коляска. На нее Дарья часто

любовалась — выкатит и смотрит, оценивает, будет ли удобно младенцу лежать, а ей — справляться с таким агрегатом.

Наконец гости собрались и начался праздник. Дарьину кухню все оценили, нахваливали и благодарили. Даже Жека, на похвалы скупой, а если и похвалит, то как будто обидит, высказался в ее пользу. Когда поспело все мясо, начинало уже смеркаться. Женатого автослесаря супруга потянула домой, их быстро напоили чаем с медовиком, и они ушли, унося гостинец своему пацану — большущий кусман торта. Остальные смеялись, пили, ели.

Вернулась из гостей Настька, растрепанная, раскрасневшаяся, — девочки знатно побесились, надоели всем, и Настьку отправили домой. Дарья причесала ее, прибрала морковные волосики.

Мужчины выходили курить на балкон, но дверь, видать, закрывали неплотно, и в квартиру натянуло дыму. И Дарья пошла командовать, накинув на плечи шаль. Взялась было за ручку двери. Но Жека рванул ее с той стороны на себя и не позволил открыть. Он разговаривал по телефону, вид у него был недовольный. Толик сосредоточенно смотрел на Жеку, а увидев, что ломится Дарья, замахал на нее обеими руками: мол, иди в комнаты, не мешай. Дарья даже обиделась. Но ничего не сказала, чтобы не портить себе приятный вечер.

Потом, когда Жека срочно куда-то убежал, она выговорила Толику. Но Толик не был расположен выслушивать бабское нытье и отправил жену к сестре на кухню заниматься женскими делами и вести женские разговоры.

Часов в семь Раечка засобиралась домой. Они обсудили уже все, что было можно, перемысли косточки мужчинам. Но Дарья тревожилась. Тянуло в животе, неприятно тюкало в голове. Ей не хотелось отпускать Раечку, которая отвлекала ее от тревожных мыслей, какие иногда накаывают на беременных: то кажется, что ребенок не в порядке, то мнят, что пойдет что-нибудь не так в родильном зале и умрут они, оставив сиротами детей и мужа. Дарью мысли о смерти допекали месяце на пятом. Но с тех пор страхов не было. Сейчас, на восьмом, она больше волновалась за ребенка, который мог родиться (тьфу-тьфу-тьфу, конечно!) неполноценным, ведь чего только в жизни не бывает. И будут они тогда с Толиком влачить эту боль вечно. Родителям инвалидов, наверное, даже и больнее, чем их детям, — с ужасом представляла Даша.

Раечка остаться не могла, с утра надо было на работу. Она помогла Дарье убрать со стола, помыла посуду, сложила стол и ушла. Дарья усадила Настьку за уроки и сама уселась на кухне, чтобы проверить в тетрадочке, все ли куплено у них для младенца, — она вела специальный дневничок.

Часов в девять закричал телефон. Какой мерзкий звонок, пусть бы переставил, — подумала Дарья и отправилась сообщить о своем решении насчет звонка Толику. Но Толик заперся в ванной и с кем-то разговаривал. Дарью захолонуло — с кем же? Втайне от жены? Она быстро загоралась, заводилась, а вот отпускало ее медленно. Поэтому, зная за собой такую

тяжелую особенность, опасаясь, что злость ее повредит беременности, она решила подслушать — исключительно с целью успокоения. Встала у двери в ванную и приникла к двери. Ничего толком не расслышала. Только поняла, что Толик звонит не какой-то посторонней бабе, а ее братцу малахольному, Жеке. Муж был взволнован.

— Мама! Мама! Мама! — трижды хулигански прокричала Настька.

Дарья отпрянула от двери ванной комнаты, опасаясь, что Толик ее застукает за подслушиванием и пристыдит.

Пока она помогала дочери разобраться с уроком, Толик шурушал в прихожей. Он куда-то собирался.

— Куда это на ночь глядя?

— Зажигалка кончилась. Скоро приду.

— Погоди-ка, с тобой схожу, прогуляюсь, мне полезно.

Толик заартачился, но жена настаивала, выпячивая пузо.

Дарья велела Настьке закругляться и ложиться спать. Настька была не против, так как уже клевала носом, умаявшись окончательно.

Сама Дарья быстренько оделась, и они с Толиком вышли. Давно не видела она настоящей уличной темноты, с тех пор как семейство переехало. Из окон многоэтажки темнота казалась розовой, разбавленной светом фонарей, вывесок, окон. И эта кукольная розовость немного раздражала.

Они купили зажигалку в ближайшем магазинчике.

— Ну ты иди, холодно ведь. А я постою покурю. — Толик содрал полиэтилен с новой пачки сигарет.

— Давай прогуляемся еще. — Дарья настаивала.

— Иди уже! Будет тут дымом дышать! — прикрикнул Толик.

Дарья смекнула, что, настаивая, она ни о чем достоверно не узнает, и покорно пошла к дому. Но дошла лишь до трансформаторной будки, на которой недавно нарисовали огромного снегиря, зашла за ее угол и встала, прислонившись к кровавого оттенка птичьей грудке. Она видела, как Толик позвонил кому-то, а потом постоял — и пошел прочь в темноту.

Дарья пошла за ним.

Она брела за ним пару кварталов. Потом Толик сел в троллейбус. Дарья забралась следом. Увидев ее в троллейбусе, Толик рассердился: ну что за неугомонная баба! Накричал на нее прилюдно, не стесняясь водителя и двух запоздавших пассажиров. Пока кричал, они доехали до моста, пересекли его.

Толик опаздывал. Жека будет в ярости. Дашку он домой, конечно, не повезет, иначе все дело накроется. Но пусть она прямо отсюда вызовет такси и уедет. Они вылезли в центре, где было уже пусто. Толик с Дарьиного телефона вызвал такси, велел ждать и пошел.

Дарья выразила согласие и раскаяние. Но такси пришло слишком быстро, и Толик еще не скрылся с горизонта, улица была длинна. Она отпустила такси, сунув водителю сотню за беспокойство, и пошагала в направлении Толика. Ее захватили одновременно жажда приключения и обида. Ей надо было все узнать.

Дарья нагнала мужа через пару кварталов — возле старой школы. Толик остановился и чего-то ждал. А потом подошел человек, в котором она узнала Жеку. Мужчины быстрым шагом рванули через парк возле школы. Дарья не успевала за ними. Она старалась не упустить их из виду, но заломило ноги, и опять стало неприятно в животе. И это не проходило. И на Дарью накатила тревога.

Она была внутри малознакомого района, ночью и вовсе неузнаваемого. Историческая застройка здесь перемешалась с советской типовой, еще были полосатые заборы из сайдинга и здания в строительных лесах. Она не понимала, куда идти, почти упустила своих ускользающих невольных проводников, фигуры которых высвечивались то одним уличным фонарем, то другим.

Дарья позвонила Раечке. Раечка, встревожившись, строгим голосом велела невестке выйти к проезжей части и посмотреть улицу и номер ближайшего дома — сказать и ждать ее на месте.

— Дашка, ну ты дура, что ли?! — возмутилась Раечка.

Дарья сообщила свои координаты, нашла лавочку, стоящую у дороги, и стала ждать. Вокруг, в домах, была какая-то жизнь, отделенная от нее, Дарьи, ставнями и заборами. Там укладывались спать или ужинали, припозднившись. Вышел дядька, побрел через дорогу. Подбежала собака с клипсой в ухе — ничейная, городская. Повиляла хвостиком и отчалила. На другой стороне дороги деревья шевелили ветвями, а казалось, что это толстая, кое-где свалывшаяся шерсть, которая мотается туда-сюда под ветром. Вдалеке маячили красные всполохи — нелепая подсветка белого храма, превратившая его в ночи то ли в логово, то ли в адские ворота. Дарье стало не по себе.

Из-за ближайшего забора донеслась перепалка — ругались мужики. Забрякал засов. Какие-нибудь пьянчуги сейчас выйдут, мало ли. Она подскочила с лавочки и понесла себя вперед по улице. Райка все равно будет еще ехать и ехать, ей можно и позвонить, она на машине, догонит.

Набирал силу ветер, колыхал космы пустых деревьев, превращал фонарный свет в пунтир, бил в спину. Потом ветер установился и стало легче идти, ветер словно сам ее нес. Она успокоилась — покой обуял ее так же внезапно, как и тревога, — и плыла по направлению ветра неведомо куда, как большой осенний лист вдоль слепых домишек и домов многоглазых, с разноцветными очесами. Звонил телефон, но она его не слышала, смотрела на небо, которое светилось. Не может быть, чтобы уже светало. Тогда, что ли, прожекторы над стадионом? Они с Толиком ходили как-то давно на хоккей, еще до Настьки, околели как черти. Но свету там было — как днем. Нет, не прожекторы, мало-мощно для прожекторов, да и как-то неустойчиво. Тот свет был бел, этот — горяч.

Она, успокоенная ветром, — он укачал ее, как ребенка, — позабыла о тревогах, снова стала любопытной, завернула за угол и пошла на свет.

Глава 24. Открытия

Воскресное утро для Мани начиналось задорно. Он придумал, как подновить Маратов стол, который стал немного припадать на одну ногу.

Маня возился полдня. А к вечеру позвонил Дягилев и хрипучим голосом сообщил, что заболел, а Дон Педро отсутствует.

— Ощущаю себя не очень. Печень страдает. Боюсь помереть, — сообщил коротко и попросил привезти лекарств.

Маня просьбе удивился — куда он с костылями?

— Это понятно. Но ты хозяина попроси, он на колесах.

Марата дома не было, он отбыл к родителям и предупредил, что у них заночует. Маня оставался за хозяина (и такое доверие льстило ему невероятно).

— А, ну тогда приезжай сам, так даже лучше. — Дягилев почему-то обрадовался.

И Маня сердобольно, вспоминая себя в разных своих телесных страданиях, не смог отказать. Он был при деньгах и мог бы съездить к приятелю на такси.

Он записал названия лекарств и поковылял до аптеки. Когда вернулся, уже понемножку смеркалось. Такси приехало быстро. Джигит-водитель помог Мане погрузиться, закинул костыли в багажник, и болтал всю дорогу без умолку, и все высматривал на дороге дагестанские номера. Маня поддакивал или молчал.

Въезд на свалку, где проживал больной, имел неожиданный вид — деревянный часток с башнями, и джигит сильно удивился. Маня расплатился и поковылял по правой стороне дороги к строениям, которые не сильно-то напоминали свалку — скорее городок или музей под открытым небом. Рыцари, корабли — все здесь имело фантазмагорический вид. Землянка тоже была не просто так землянкой — а настоящей фронтовой землянкой, восстановленной энтузиастами. Хозяева свалки создали здесь целый музей. В общем, Маня констатировал, что совсем неплохо проживать в таком месте, где даже ночью — как в музее.

Он дошел до жилища и постучал. Открыл ему Дон Педро, который был рад Маниному появлению.

— Лекарства больному привез, — доложил Маня.

— Кто заболел?

— Дягилев.

— Да вроде нет. Ушел еще днем. Но сказал, что гость будет, попросил, чтобы ты его дождался. Но может, и заболел, кто его знает, — потер лоб Дон Педро.

— Да ну, чертовщина какая-то, — удивленный Маня Иванович достал из пакета аптечные коробочки. Впрочем, ему было приятно съездить в гости почаевничать, понимая, что возвратится он потом домой, в свой угол.

Дягилев все не шел. Когда время приблизилось к девяти, Маня решил закругляться. Все-таки Марат оставил его за хозяина, нехорошо бросать дом пустым.

Такси долго не ехало, и внутри Мани Ивановича нарастала тревога. Закрыв ли он как следует окно, выходящее на задний двор? И надо бы взрезать еще один замок, а то мало ли что. Замки в таком случае лишними не бывают.

Когда Марат добирался к родителям, его не отпускало тягостное чувство. Он хотел бы их одобрения, но не нуждался в нем. Поймут ли они перемены в его жизни? Мать гордилась им как успешным архитектором, но как будто отказывалась понимать его выбор — зачем он вернулся, зачем взял такую обузу. Она ничего не говорила, но он чувствовал ее смущение — по тону ее голоса. Купец Каплин был ее прадедом, но она жалела, что поддалась на уговоры своей матери и вступила в это глупое наследство. И вслух жалела, что вовремя не избавилась от него — можно было просто отказаться в пользу государства или продать, земля-то дорогая. А ведь они еще и вложились в него по полной программе, а еще и подняли все знакомства, чтобы развалюху не снесли к чертям собачьим. Матери казалось, что сын закапывает здесь свой талант, зря растрчивает силы.

Отец Марата был видным проектировщиком. Для него эта деревяшка была в каком-то роде честолюбивым символом причастности к истории, к роду его жены. Сам он происходил из бедной крестьянской семьи на севере губернии, поправившей свое положение после того, как один из его предков стал записным коммунистом, гонялся за белогвардейской бандой по лесам и полям, остался жив и был переведен на партийную работу в райцентр. Оттуда его родственники и потомки распространились по другим райцентрам или осели в областном городе. Его батя потопал в агротехникум и совхозные руководители, а он сам — на учебу в Москву, в архитектурный. Он в какой-то степени гордился и своими. Но в этом не было для него тайны, все казалось ему излишне простоватым. Девушка с нездешним именем Нелли, которую звали без импортной «и» на конце и лишней «л», просто Нелей, не выпячивала свою родню, стесняясь и не принимая всего этого купечества. Ей хотелось быть современной, играть в волейбол в институтской команде, поехать на большую стройку в тайгу. Все, что было до этого, до ее желаний и устремлений, не имело значения. На БАМе, где они познакомились и скоро поженились, такая ерунда никому была не интересна, но молодому мужу нравилось это глубокое, спрятанное ощущение причастности к чему-то незнакомому и даже запретному. Спустя годы культурные тенденции изменились, происхождение жены превратилось в достоинство. Но он наслаждался этим чувством один, супруга жила своей женской жизнью, которая не предусматривала исторической перспективы вглубь веков, а лишь в будущее, где выросли ее дети и на горизонте могли появиться внуки. Поэтому-то, наверное, ее возмущала эта мужская нерачительность, влиянию которой подвергся их сын. В ней все еще не просыпалось чувство рода. Наверное, она ощущала себя первой, прародительницей, почти Евой, начинающей с чистого листа, будучи выставленной из отцовского сада. Наверное, так.

Отец открыл ему дверь и сразу же велел мыть руки — звенели тарелки в глубине квартиры, накрывался ужин.

Марат прошел в свою комнату — родители не трогали ее, лишь заменили стол, раздали часть книг и убрали в коробку разные вещи. Где-то там, в коробке, знал Марат, дремали его мальчишеские сокровища, трофеи сложных разведывательных операций. Мама, наверное, все еще не выбросила их, хоть когда-то и порывалась. В детстве он об этом не переживал — у всех пацанов мамы делали то же самое, выкидывали все непонятное, это было частью миропорядка, так что просто следовало лучше прятать камешки, наконечники, черепки, записки. Теперь эти вещи были частью их семьи, его детства, а значит, маминой жизни, и она ни за что бы это не выбросила. Марат радостно усмехнулся своей догадке и не полез в коробку, уверенный, что все на месте.

За ужином он все рассказал родителям. Сначала про Агату. Отец поднял брови и промолчал. А мама все вздыхала, подозревая самые грубые последствия.

— О тебе же пойдут всякие слухи. Вы с Еленой работаете в одной сфере, не забывай этого.

Потом — про дом. У мамы дрогнули губы, она вроде как даже обрадовалась. Отец обещал помочь в случае чего — насколько хватит его пенсионерских сил. Такое участие напомнило Марату о том, как он еще совсем недавно насмеялся над попытками отца погрузить его в историю семьи. Батя даже раздобыл копии каких-то архивных документов.

После ужина они долго говорили под звон посуды, которую мыла мама. Потом ей позвонили, звон прекратился, прекратился и разговор. Марат пошел в свою комнату. Мама еще сняла со стен выцветшие карты и плакаты, а подоконник заставила цветами, заметил он. Но так, без плакатов и с цветами, даже лучше, думал Марат, устраиваясь на своем старом диване, словно собрался мчаться на нем обратно в детство. Включил телевизор на середине какого-то фильма. Герой бежал по лабиринтам старого города. По мосту он перебрался наконец на другой берег, то ли убегая от кого-то, то ли кого-то догоняя, — Марата настигло тревожное ощущение полной неопределенности. А герой все бежал, бежал по прямой куда-то. И выбежал к лесу, где мотали головами сосны. Озирался, не понимая, сколько пробежал и куда бежит. Оглянулся — а позади черное животное, ждет Ивана Царевича. А Иван Царевич — это он сам. Но глаза у волка белые, будто бы слепые. И волк что-то говорит человеческим голосом. В ужасе Марат очнулся. Настенные часы с фосфоресцирующими стрелками показывали около девяти вечера.

Отец не спал, бродил по квартире. Он любил так, прохаживаясь, думать.

— Рано ты уснул.

— Пап, да я не уснул, телик смотрел. Поеду я, не останусь. Нужно кое-что сделать. Завтра загляну.

Отец понимающе кивнул.

— На ночь-то глядя?! — воскликнула из кухни мать. Она, похоже, затевала еще что-то вкусенькое, гремела противнем.

Марат обнял отца, усевшегося в любимое кресло. Отцовская седина пахла полынью.

Мать, провожая, поправила ему шарф и долго не закрывала дверь, ожидая, когда придет лифт и увезет сына.

Ветер что-то курлыкал, путаясь в сооружениях на детской площадке, поглаживая сонные автомобили на парковке. Марат завел машину и позвонил. Женский голос на том конце был ломким, каким-то пунктирным, как затертая линия на старом чертеже.

— Я люблю тебя. — Ему больше нечего было сказать. Он даже не понимал, как ему удалось сказать и это, потому что эти три символических слова содержали, как огромный пузырь, всю благую воду мира. Он так думал, и воображение отправляло его в далекие дали детства, где он в пионерлагере полюбил одну девочку, а она его — нет. Отправляло в студенческую юность, где он тоже кого-то мимолетно любил, и еще дальше, туда, где он встретил Елену. Рассудок не мог ему помочь, потому что сейчас он был очевидно безрассуден. Он видел какое-то славное будущее, в котором были и Агата, и дом, и какие-то нечаянные славные и такие разные люди, бродящие по дорогам жизни, по одним дорогам с ним или же по разным, не важно.

— Приезжай, — сказал ему голос и захлебнулся в рыдании.

— Я тебя заберу. Можешь ехать?

— Я уже сама еду к тебе, — сказал голос, и связь прервалась.

Глава 25. Пути наших мечтаний

Для тех, кто обнаружил свое место в жизни, для кого интуиция открыла этот прекрасный подарок, исчезает большинство нелепых и случайных сомнений, отягчающих жизнь любого человека. В момент откровения, который схож, может быть, с внезапным порывом восточного ветра посреди зимы, не всякий определит конкретно, что за знак послала ему судьба, но всякий сможет опознать: да, что-то изменилось и требует его отклика. Может быть, просто скоро весна.

Радость узнавания повлечет человека по его любимым улицам, а если в городе есть река, то к набережной. Там время течет, притворяясь водой, темное, но прозрачное, неуловимое, неостановимое никакой плотиной.

Или же человека повлечет в места его детства и юности, где в путанице малоэтажных ведомственных домиков с вычурными балкончиками и советскими символами вокруг чердачных окошек он по-прежнему ищет туманное романтическое доказательство старым сказкам о славных подвигах или верной любви — благородный вымысел, пересиливающий блеклую реальность. Здесь времени будто бы и нет.

А может быть, человек движется, ощущая свободное дыхание будущего. Дух его прояснен, в руках и ногах есть сила, готовая к применению.

И он даже видит в воображении некий результат. Например, некий дом, на черном теле которого светлеют благородные ставни, а за резным карнизом крыши ютятся воробьи...

Разное ждет нас на пути наших мечтаний. Разное ждет нас и в жизни.

Когда Марат, просветленный мечтами о будущем, подъезжал к перекрестку и был готов уже свернуть на свою улицу, мимо промчалась, врубив сирену, полицейская машина. Потом обогнали его две пожарные. Он дал газу, и вскоре его вынесло к огненному озеру, вокруг которого растянулись толстые шланги, похожие на огромные щупальца.

Суетились мужики в робах, тащили лестницу, лезли наверх. Огонь тихо шумел и еле слышно хрипел, выбрасывался из окон, словно его с кляпом в пасти заперли и держали в заложниках. А пожарные будто бы спасали этот огонь, отгоняли его от окон, чтобы он не выпал.

Горел Каплин дом.

Дом занялся как-то сразу. Хозяйка правой части Думочкина дома разбудила мужа, тот выглянул на улицу, охнул и вызвал пожарную команду. Хозяйка левой части растерялась, стала искать своего боевого ободранного кота, который по-прежнему, бывало, хаживал в Каплин дом. Кота нашла и теперь стояла с животинкой на руках, ужасаясь зрелищу, представляя, что стало бы с котом, окажись он в огненной западне.

Чумазый, но симпатичный пожарный подошел к ней и стал расспрашивать, есть ли кто внутри соседского дома. Она поправила волосы, отпустила кота и ответила, что не знает, но там, сказала она, обычно всегда кто-то есть, инвалид какой-то.

Пожарный закричал что-то товарищам, замахал рукой. Возникла суета. Подбежал молодой мужчина, сказал, что хозяин, и что в доме обязательно есть человек, его товарищ, инвалид. Рванул было к крыльцу, пока нетронутую огнем. Его поймали пожарные, повалили на землю.

— Куда! Откроешь, полыхнет на хрен! — заорал кто-то из них.

Подбежали полицейские из оцепления.

— Они сами. Погоди... — сказал один полицейский.

В нем хозяин узнал того, кто приходил брать у него объяснения по жалобе школьной директрисы. Полицейский смотрел на него с состраданием. И с еще большей печалью смотрел он на дом. Уж старший лейтенант Сережа хорошо понимал, что значит потерять дом, хоть он даже уже и не твой, но как бы призрачная родина твоей души.

Один угол полыхал особенно сильно. Было понятно, что дому недобровать.

Марата к нему больше не подпустили. Обещали даже арестовать, если он будет мешать пожарным. Он завис рядом с полицейской машиной и ожесточенно наблюдал за огнем, пока с другой стороны дома не показались двое в робах и касках, поддерживающие человека, скачущего на одной ноге.

— Маня! — Марат кинулся вперед и подхватил фигуру.

Маня Иванович едва стоял, был черен, мастеровая куртка на нем обгорела по одному плечу и по боку.

— Там еще кто-то. Человек есть. Я не вытащил, не осилил, — прохрипел он и осел на землю.

Подбежал лейтенант Сережа. Вдвоем они довели Маню до Маратовой машины и устроили кое-как в ожидании скорой, которая запаздывала. Сережа еще раз запросил скорую по рации, уточнив, что есть пострадавший, а то и несколько.

Вокруг собиралась публика. Жители окрестных домов в основном. Кто-то снимал на телефон. Появились уже журналисты. Один шмыгал со своей камерой в жилетке с надписью «Пресса» и все удивлялся вслух: откуда такая толпа ночью?

Пожарные работали. Но огонь не унимался и добрался до второго этажа. Никого из дома больше не вытащили. Старое дерево стонало.

Внутри Марата вдруг образовался болевой комок. «И я чувствую себя привидением, осколком из прошлого. Но дом давно уже расселяют, он освобождается. И, может быть, настанет время, когда он будет пустым». Что же, неужели письма Евдокии Каплиной, ее последняя боль и надежда, исчезнут в огне — и не было будто бы Евдокии? И Лизочка, его родная прабабка, которая мерещилась ему то на лестнице, то в комнатах, канет в небытие вместе с грудой старого дерева? Марат оглянулся вокруг, будто бы ища купца Каплина. Будто бы тот стоит где-то в стороне и смотрит на него белыми глазами покойника, мол, не уберег. И, наверное, плачет своими невидимыми слезами. Марат опустил на корточки возле полицейской машины и тоже заплакал.

Тем временем к толпе зрителей приблизилась большая, несоразмерная какая-то фигура. Стала метаться, что-то спрашивать в толпе. Это была Дарья, и она искала Толика. Она шла за ними и вышла на пожар. Среди зрителей ни мужа, ни брата она не нашла и взволновалась. От Жеки она ничего хорошего не ожидала. И ничуть бы не удивилась, окажись они где-то здесь. Все Жека портит: как где ни появится, все обязательно испортит. Уж сидел бы и дальше, людям жить не мешал.

Дарья кинулась к пожарным, которые колдовали у гидранта, потом к полицейской машине, требуя сказать, есть ли жертвы, вытащили ли кого.

— Да вот пока только одного.

— А второго?

— А второго — нет. Наверное, уже и не вытащат.

Дарья охнула и присела. А потом бросила свою большую фигуру к крыльцу, вскочила через две ступеньки и рванула дверь. Ее сила была велика, и дверь вдруг поддалась, возможно уже и подгорела. Огонь выбросился ей навстречу, она упала, голова ее как-то неестественно легла на краешек крылечка. Заорали пожарные, кинулись, потащили.

— Да что такое-то сегодня! Женщина! Скорую, скорую давай! Скорая где?!

Зрители видели, что возникла суматоха. Вокруг упавшей, которую оттащили на безопасное расстояние, хлопотали мужики. Потом подбежали к ним хозяйки из Думочкина дома, метались, суетились. И почему-то очень шумно — от пожара человеческих голосов.

Когда скорая приехала, Дарья уже не откликалась. Полицейский Сережа, грязный, в крови и саже, сидел в машине и держал на руках ком тряпок — что-то белое, а что-то синее. По лицу Сережи размазались слезы и все еще текли, падая на тряпки. Сережа боялся взглянуть туда — он не понимал, мертв ребенок или жив. И боялся, что вдруг мертв.

Возле женщины, которую пожарные накрыли, но голову оставили — вдруг жива, а они просто не могут определить, — сидел на ледяной земле мужчина и стучал кулаком по земле. Ничего не говорил, просто стучал с перерывами, словно азбукой Морзе посылал кому-то под землю сигналы. Двое пожарных стояли рядом, сняв каски.

Зеваки были растеряны. Людское море шумело. Никто не снимал на свои телефоны. Полицейские больше не позволяли никому зайти за невидимую линию. Но когда закричал младенец, вся эта жужжащая толпа в момент заглохла, замерла. И было слышно только гудение огня в противоборстве с водой и этот надрывный требовательный крик.

Скорая забрала всех — и Дарьино тело, то ли пустое, то ли еще дышащее, и младенца, которого лейтенант Сережа почему-то сначала не хотел отдавать. Забрали и мужа потерпевшей, Толика, который по-прежнему молчал и только дергался, вырываясь из рук, заталкивающих его в скорую. Вторая скорая забрала Маню Ивановича, который все твердил, что внутри остался человек, и не хотел уезжать, пока того не достанут. Но обожженные места начинали болеть, и его к тому же немножечко зашибло чем-то в пожаре, так что, когда мир стал размытым и поплыл, он согласился на уговоры Марата, взяв с него обещание убедиться, что человека найдут.

Человека нашли через несколько часов, когда огонь покинул дом и внутри черного выгоревшего брюха можно было аккуратно войти. Тело уложили на крыльцо, крупную фигуру, обгоревшую, но не так, чтобы сильно. Скорее всего, он погиб, надышавшись угарного газа. Марат не смог опознать этого человека со впалыми щеками. Его отправили в морг как пока неопознанного. Последняя скорая — с неопознанным — умчала в темноту.

К этому времени толпа разошлась, у этого кошмара больше не было посторонних свидетелей. Только хозяйки Думочкина дома, словно приклеились к окнам в своих комнатах, выключив в комнатах свет. Их белые лица маячили за стеклами, как привидения. В стороне, за сиреневым кустом, накрытым световым одеялом от фонаря, сутулилась еще какая-то фигура, а то, кажется, и две. Хозяйка правой половины

пыталась разглядеть, да под обманчивым светом городских фонарей все, как известно, двоится, лукавит. Она всматривалась, оттягивала пальцем внешний уголок глаза, как делают близорукие. В зрительную щелочку отчетливо помещались двое — один грубый и высокий, другой помельче, словно робкая, осторожная тень первого. Чего это они по кустам лазают? Надо позвонить куда следует, вдруг поджигатели... Лицо правой хозяйки растворилось в комнатной мгле.

Но вскоре и возле кустов никого не стало.

Хотя нет. На улице из посторонних осталась одна женщина. Она молча и неподвижно стояла посреди раздора, смущая полицейских и пожарных, которые начинали сворачивать свое пожарное имущество. Дом больше не дымился. Одна его часть осталась почти нетронута огнем, но, вероятно, была залита водой. Женщина смотрела на дом, не сводя с него глаз.

Марат давно уже наблюдал за ней. Но в ней, во всей ее позе, была очевидна такая грань отчаяния, которая требовала одиночества. Когда он заметил ее, она стояла на краю толпы, как на краю скалы, пошатываясь. Толпа расходилась, а она не двигалась. Он понимал, что она, Агата, видела его. Но не подходила — как бы и не видела. Он тоже долго не подходил. Только после того, как младенческий крик запустил в мире новые часы, новый отсчет, он приблизился, и она уткнулась в его пропахшую дымом куртку и сказала. Смысл ее слов дошел до него не сразу.

— Это ты? Не отказывайся от меня, — сказала она.

Он больше не мог думать о ней как о посторонней. Стало наконец ясно, что не притяжение плоти, и не ошибка воображения, и даже не разочарование в прежней жизни свело их вместе. А ощущение друг в друге нетерпеливой искры, подобной той, которая запалила Каплин дом. А не туфли в фонтане, конечно, — то был просто случай, на место которого, раньше или позже, пришел бы другой случай.

Он не решился дать название этому совпадению, боясь уничтожить его чем-то банальным, пошлым.

Она все еще прятала лицо. Но ее присутствие внушало ему неотвратимую легкость. «Все на своих местах», — думал он, глядя на черные обломки здания, сокрушаясь и жалея, но не отчаиваясь — обнадеживаясь этой легкостью.

— Ну что? — спросила она, поднимая лицо.

— Все на своих местах, — сказал он. Разве не в такой момент люди способны взглянуть друг другу в глаза с оглушающей тишиной страсти? Как раз в такой.

Она силилась улыбнуться ему в ответ. Но улыбки не получилось. Она устала — просто вдруг как-то устала, и все. Перед глазами все еще мелькали всполохи кошмара. Чередой скорых, младенец, который вырвался из материнской утробы, может быть, в последнюю возможную минуту... Она подумала о своих детях, подумала о матери младенца. Неконтролируемая череда картинок бежала перед ее глазами. Она отдалась во власть этому иллюзиону, и лишь отъезд пожарного расчета,

окрики пожарных, вывели ее из забвения, в котором она силилась нащупать твердую почву.

— Отвезу тебя к своим, — Марат усадил ее в машину. Пора знакомить ее с родителями, и случай подвернулся, — иронически, но почему-то не горько подумалось ему.

Пока они ехали, она не открывала глаз, полностью доверившись человеку, который будто бы вышел из огня невредимым. Ей казалось, что он сгорел и возродился, как феникс. Она видела его по-новому: абсолютно беззащитным и оттого абсолютно неуязвимым, героем какой-то утраченной мифологии, которому потом на протяжении тысячелетий люди давали разные имена. Некрасивое лицо, которое она припоминала по деталям, освещалось для нее не томительным светом желаний, но другим, чрезвычайным, огнем. Она решила, что им только предстоит узнать друг друга.

Наутро пожарище представляло собой вид до противного обыденный: еще одна развалина в большом, хоть и провинциальном городе. Прохожие сочувственно смотрели в ее сторону, сожалея, что теперь им придется лицезреть этот неудобоваримый на вид памятник не один год, как обычно. Поставят еще жестяной, зеленый с белым забор, который со временем искривится, его испишут символами и словами. Еще одно позорное пятно на белом мундире зимнего города. Н-да.

Но дом был не покинут, внутри происходило какое-то движение.

В обед выглянуло солнце, и пожарище стало еще более вопиющим. К этому времени у дома стояли грузовичок и легковушка, и три человека сустились, бегали туда-сюда, загружали их вещами.

К трем часам солнце разыгралось, прыгая по стеклам второго этажа левой, несгоревшей части. На отблески в окнах, напомнившие блеск серой воды в реке, угрюмо взирал мальчик. Шапка сбита, школьный рюкзак брошен рядом. Прохожие могли бы подумать, что он шалопай, неаккуратный гражданин, позорище своих родителей. Но мальчику было абсолютно плевать, он думал лишь о том, как не поддаться слезам.

Один человек, приземистый, кряжистый, с красивым хищным носом, похожий на римского полководца из учебника, грустно помахал ему. Мальчик помахал в ответ.

Для него этот пожар означал только одно — он отодвигал его встречу с матерью. Где они с ней будут жить, пока дядя Марат не восстановит дом? А если вдруг передумает и вообще не будет? Бросит, да и все. Хотя такого, конечно, быть не может. Но ведь взрослые на все способны. Наверное, он разберет старый дом и построит новый. Наверное, построит новый, красивый.

Мальчик обошел погорелый Каплин дом слева и справа. Погладил перила крыльца. Постучал в целые стекла. Второй человек, грузивший вещи, улыбался ему прекрасной улыбкой, совсем не грустной. Хотя, думал мальчик, дяде Марату как раз должно быть очень и очень несладко. Но он так безапелляционно улыбался — и мальчик улыбнулся ему в ответ.

Солнце, видя такое дело, обнаглело вконец и стрельнуло мальчику в глаза. Он чихнул и засмеялся. И, опустив голову, увидел внизу тень, а повернувшись — большого черного пса, который миролюбиво сидел в сторонке и будто бы тоже улыбался. Пес посмотрел на мальчика, а потом протрусил мимо него по улице, приостанавливаясь и оглядываясь.

Мальчик поднял с земли рюкзак, поправил шапку и пошел вслед за псом. А то скоро возвращаться к бабке, которая полночи издавала странные звуки, закрывшись в своей комнате, сморкалась и как будто по телефону говорила, а утром в школу не пошла и пила вонючее лекарство. Надо за ней присмотреть.

— Пока, дядя Марат. Я послезавтра приду помогать!

Человек крикнул:

— Понял тебя! — и захлопнул багажник легковушки.

Когда основное дело было закончено, мужчины уселись на крыльце. Дон Педро подставил солнцу свое императорское лицо. Марат открутил крышку от бутылки с минералкой и жадно глотал, ощутив вдруг невероятную и радостную жажду.

— Придет Дягилев? — спросил он, прикинув объем работы на ближайшее будущее.

Дон Педро вздохнул, нахмурился, ничего не ответил.

Третий, лейтенант Сережа, взял молоток, слетевший с молотовища, и, сопя по-мальчишески, прилаживал части инструмента друг к другу.

— Надо бы фанеру на окнах проверить, получше приколотить. Чтоб не залез никто, — сказал он и пошел приколачивать. Солнце ободряюще подталкивало его в спину, и по загравку бежали теплые волны, как от бабушкиных рук в детстве, когда она гладила его по голове, чтобы успокоить...

